СЛАВА СОЛДАТСКАЯ

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

Дивизионка

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВ

Дивизионка

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“ 1975

Р2
А47

РИСУНКИ О. ГРОССЕ

Алексеев М. Н.

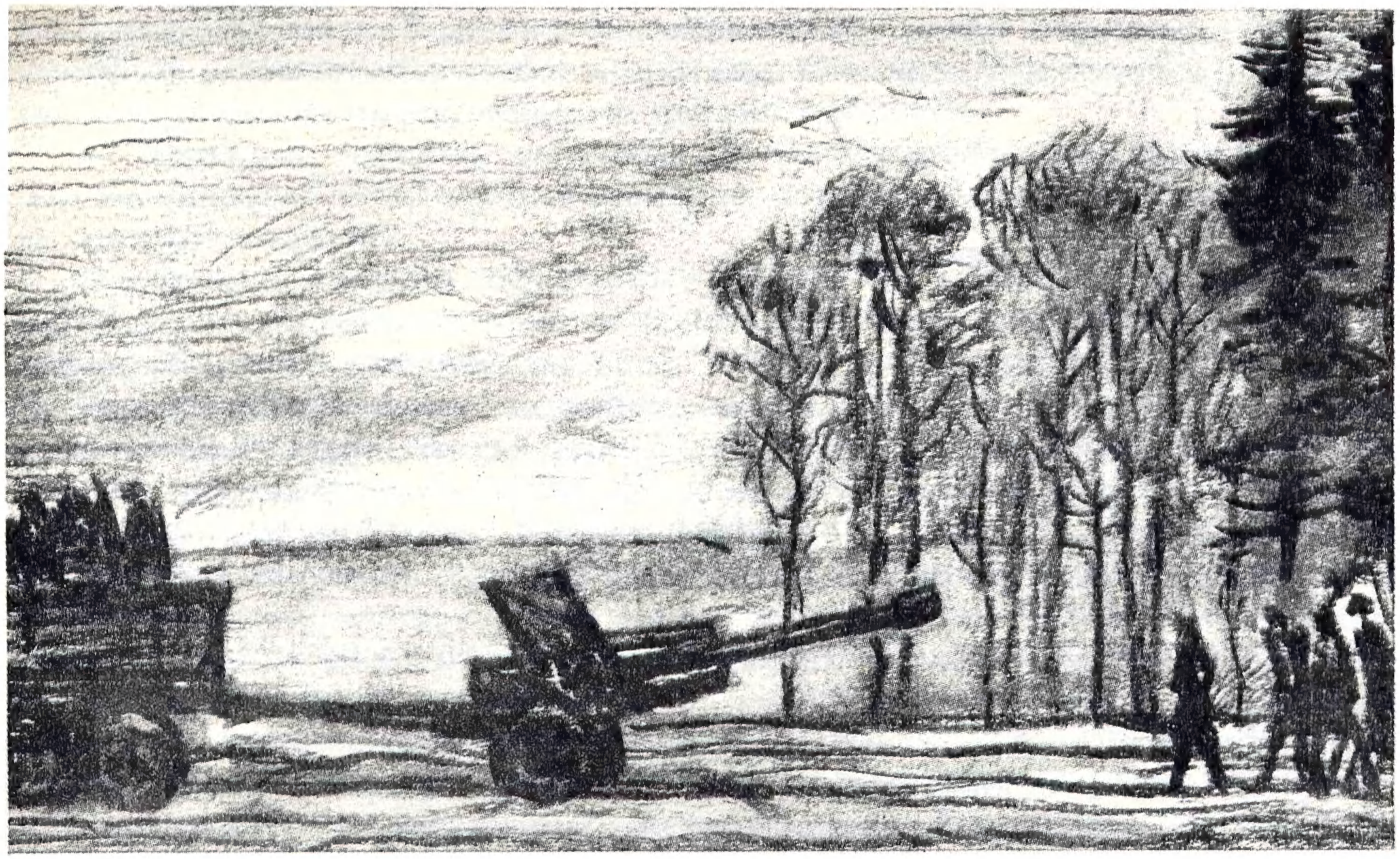
А47 Дивизионка. Документальные новеллы. Рисунки О. Гроссе. М., «Дет. лит.», 1975.

64 с. с ил. («Слава солдатская»).

Рассказы о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

А $\frac{70803—094}{М101(03)75}$ 248—75 Р2

© Иллюстрации. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1975 г.



На войне сюжета нету.
А. Твардовский,
«Василий Теркин»

Чтоб не было недоразумений, сразу же сообщу, что «дивизионка», о которой пойдет речь, — это не пушка, как могут подумать люди военные. Дивизионкой звали и газету, имевшуюся в каждой дивизии. Звали ее и «хозяйством имени первопечатника Ивана Федорова», а то еще как-нибудь, обязательно придавая этим названиям ласкательную и насмешливо-простодушную интонацию.

Из военных газет дивизионка находилась всех ближе к солдатским окопам. Думается, что и к сердцам солдатским она была ближе, потому что рождалась там, где совершался подвиг.

Была такая газетка и в нашей дивизии. Вот об этом-то «воинском подразделении» и поведется рассказ в наших новеллах.

Замечу, что вначале у меня не было намерения создавать целый цикл новелл. В свое время по разным причинам и по разным поводам я написал несколько вещиц, опубликовал в печати. Но с первыми же читательскими отзывами на них понял, что отдельными рассказами ограничиваться нельзя, — надо писать цикл новелл, которые в совокупности представили бы собой нечто вроде повести.

Следует сказать также и о том, что в предлагаемых вниманию чита-

телей новеллах описываются подлинные события; действующие лица, как правило, сохраняют здесь свои реальные имена. В этом смысле цикл новелл «Дивизионка» можно с полным основанием назвать документальным.

Вот и все.

НАШ ПЕЧОРИН

В конце августа 1942 года на огневые позиции нашей минометной роты каким-то чудом пробрался незнакомый солдат со знаками различия сапера на черных сморщенных петлицах. Чудом — потому что уже третьи сутки часть вела бои в полном окружении. Немцы вышли к реке, петлявшей по донским степям, форсировали ее далеко на флангах дивизии и после долгих, злых схваток замкнули позади нас кольцо.

Солдат был худ, мрачен. Запыленный чуб его висел из-под пилотки сиротливо и жалко, как у побежденного петуха гребешок. Из-за широкого кирзового голенища выглядывала алюминиевая ложка. На ремне, оттянувшемся по бокам тощего тела, болтались фляга и малая саперная лопатка — то и другое в сером шинельном чехле.

Признаюсь, появление невзрачного солдатика не прибавило нам бодрости. К тому же мы решили, что пришел он минировать позиции, а это всегда означало одно и то же: отход, а в данном случае — отход с прорывом кольца вражеского окружения. Люди, воевавшие, хорошо знают что скрывается за этим коротким словом. Противник заметит отходящих и будет следовать по пятам, его артиллерия из всех стволов откроет вдогонку яростный огонь, и укрыться в голой степи будет решительно негде. С рассветом же над отступающими колоннами появится всеми проклятая «рама» [1], вслед за нею жди «музыкантов» [2] — это уж как бог свят! А там начнется такое... В общем, кто хоть раз на войне попадал в этакую «карусель», тот по гроб жизни не забудет о ней.

Вот что сулило нам неожиданное появление сапера. Этим только и можно объяснить, что минометчики встретили его без особого энтузиазма. В других случаях, когда сквозь вражеское кольцо к нам пробирался человек оттуда, с Большой земли, его качали на руках.

Я был на НП и мог наблюдать за сапером лишь издали. К крайнему моему удивлению, худенький солдатик вынул из кармана блокнот и, разговаривая с обступившими его минометчиками, стал что-то записывать. Я хотел уж подойти, да увидел рядом с незнакомцем политрука роты и успокоился: Петя Ахтырко, конечно, проверил документы, прежде чем пуститься в беседу с сапером. Вскоре к ним присоединился наш ездовой — Гурьян Максимыч Прибытков; тот уже никак не мог быть в стороне, когда рядом затевалась какая-нибудь беседушка.

---

[1] «Рамой» солдаты прозвали немецкий самолет «ФВ-189».

[2] «Музыкант» — пикирующий бомбардировщик «Ю-87».

Вчера Максимыч — так звали мы этого пожилого, во всех отношениях положительного крестьянина, надевавшего солдатскую одежду лишь по случаю войн: ни одна из них, начиная с первой мировой, почему-то никак не могла обойтись без непосредственного участия Максимыча, — так вот, вчера он по-настоящему удивил всю роту.

— Лошадей, товарищ лейтенант, я замаскировал так, что днем с огнем не сыщешь. Кто, окромя меня, их найдет, отдам ему свою махорку за целую неделю!

Охотников, понятно, объявилось много. Но, к вящей радости Максимыча, лошадей минометчики не нашли, хотя всяк проходил мимо них по меньшей мере раз десять.

Уж не об этом ли рассказывал сейчас Максимыч нашему гостю? Случилось так, что ни в тот день, ни позже я не смог спросить у политрука, что же это за солдат наведывался в роту. События круто повернули нашу фронтовую жизнь. В следующую ночь было приказано выходить из окружения, и все это протекало так, как описано выше: вражеский артиллерийский налет, «рама» на рассвете, затем «юнкерсы», разбитые повозки, орудийные передки вверх колесами, издыхающие лошади в кюветах, с мучительным недоумением глядящие на мир меркнущими фиолетовыми глазами, свист осколков в раскаленном добела воздухе...

Лишь неподалеку от крупной железнодорожной станции наша дивизия привела себя в порядок и заняла оборону. Бои вновь приняли ожесточенный характер.

В такое-то время Максимыч и привез на передовую вместе с термосами, до краев наполненными гороховым супом и перловкой, маленькую дивизионную газетку. Лик старого Максимыча сиял. Морщины на нем разбежались светлыми ручейками. Снедаемый нетерпеливым желанием поскорее сообщить какую-то небывалую новость, он на ходу заорал во всю силу своих легких:

— Газета, товарищ лейтенант! Про нас! Мы... мы... герои, стало быть!

Сначала я прочел газету один. В очерке, занявшем всю вторую страницу, под рубрикой «Наши герои» неведомый мне Ан. Степной подробно описывал бои, в которых пришлось участвовать минометной роте. Автор не скупился на краски, и при чтении отдельных мест уши мои загорались жарким пламенем, а в висках звонко стучала кровь. Теперь я догадался, кем был тот солдат. Но одного обстоятельства понять не мог — ни тогда, ни сейчас: где этот ничем не примечательный с виду, откровенно нежизнерадостный человек отыскивал столь звучные, яркие и живые слова для своих фронтовых зарисовок?

Я долго колебался, отдать ли газету солдатам или потихоньку, незаметно от них, свернуть ее и... Нет, нет, порвать и выбросить я не мог — это было свыше моих сил! Торопливо схоронил газету подальше в карман, но тут же устыдился: вдруг показалось, что я обокрал бойцов, лишил их, в общем-то, вполне заслуженной ими радости. А потом я вовсе не был уверен, что Максимыч уже не рассказал об очерке солдатам...

Тут же попросил Петю Ахтырко прочесть газету вслух — сразу всей роте.

— Степной? Что же это за Степной? — Петя пожал плечами. — У того парня другая фамилия. Не помню уж точно какая, но только не Степной!

И Ахтырко и я тем временем были слишком далеки от своеобразного мира журналистов и не подозревали о существовании таких странных вещей, как литературный псевдоним.

Минометчики прослушали очерк молча и как бы даже безразлично. Затем стали украдкой поглядывать друг на друга с недоумением и удивленным вниманием: вправду ли они такие уж герои, как о них рассказывается в газете? Ну, к примеру, что геройского в Ванюше Давискиба? Песни, правда, спивает здорово этот хохленок — прямо-таки соловейко. Про то все знают и за то любят Ванюшку. А вот как он вел себя у миномета во время боя, никто и не заметил: не до того было. Откуда же корреспонденту знать, что думал Давискиба в минуту, когда он опускал в горячий ствол мину и кричал что есть моченьки, вытаращив черные свои очи: «Выстрел!.. Выстрел!.. Выстрел!..» Между тем в очерке сказано:

«В эту минуту перед его глазами вставала белая хата за Днепром, а возле хаты — старенькая женщина. Она исступленно глядит на восток и сухими губами неслышно шепчет: «Сынку мий, сынку! Де ж ты, кровинка моя?»

Думал ли об этом Иван Давискиба или о чем другом, мы не знали, но только вот видим: увлажнились глаза хлопчика, заблестели; отвернулся и стал зачем-то сосредоточенно перематывать портянку...

2

У времени и у судьбы свои законы, свои права. Надо ж было, чтоб начальнику политотдела дивизии полковнику Денисову спустя полгода после сталинградского побоища пришла в голову более чем неожиданная мысль — представить меня на должность заместителя редактора дивизионной газеты. Что навело его на мой след, одному аллаху ведомо. Может быть, две-три заметки, с грехом пополам состряпанные мною и напечатанные в этой газетке? Думается, однако, что заметки эти разве только при повышенном оптимизме можно было принять за признаки журналистских способностей их автора. Но как бы там ни было, а я стою сейчас перед маленьким аккуратным полковником с умными, насмешливыми глазами и слушаю сентенцию относительно того, что не боги горшки обжигают, что газета — не менее важная огневая точка, чем минометная рота, что со временем я буду еще его, полковника, благодарить и что «балакать», собственно, больше не о чем, а надо брать предписание в зубы — он так и сказал: «в зубы» — и немедленно отправляться в редакцию, которая зарылась в землянках в глубокой балке.

— Вот тут! — ткнул он пальцем в лежавшую перед ним карту. — Идите!

Я вышел от Денисова и призадумался. О богах и горшках я слыхивал и раньше, но для меня это было слишком слабым утешением. Я подозревал, конечно, что статьи для газеты пишут не боги, а люди, но люди, хорошо владеющие своим ремеслом, и они будут совершенно правы, ежели не очень-то возрадуются моему пришествию в газету, да еще в качестве их начальника.

Но приказ есть приказ, и его надлежало исполнить. Тяжко, до хруста в груди, вздохнув, я поплелся в редакцию. Дорога вела через лес. Было тихо, прохладно, пахло земляникой. Где-то выстукивал дятел, тараторила сорока — зло и насмешливо. В отдалении урчал грузовик, скрипели повозки: это устраивались на глухих полянах подразделения второго эшелона дивизии.

«В тыл, значит?» — спросил я себя с беспомощным ехидством.

Как приговоренный, подходил я к редакции. Еще издали увидал блиндаж, а возле него, у входа, две кудлатые головы, склонившиеся над листом бумаги. Рядом на каких-то странных, отродясь не виданных мною ящиках лежали такие же странные доски с множеством клеточек, очень похожие на пчелиные соты. Над досками, ссутулившись, стояли солдаты в полотняных выпачканных передниках и быстрыми движениями пальцев извлекали что-то из этих сотов.

Укрывшись за деревом, я стал наблюдать за теми двумя, кудлатыми. Одного узнал сразу — это был тот самый сапер, что однажды навещал нас. «Вот он какой, Степной!» — мелькнуло в моей голове, и мне почему-то сделалось еще тоскливее. Теперь на узких плечах сапера куцыми крылышками лежали погоны младшего лейтенанта. Второй, совсем юный, краснощекий, черноглазый, отчаянно жестикулировал, громко, с завыванием читал стихи, видать, только что сотворенные им:

Я трубку снял. Сквозь вой метели,
Расслышанные мной едва,
До слуха быстро долетели
Ее прелестные слова...

Сапер морщился и молчал. Черноглазый смотрел на него умоляюще и начинал снова:

Я трубку снял...

— Лучше бы ты ее не снимал, — мрачно перебил сапер.

— Это почему же? — страшно удивился поэт.

— Глядишь, не было б этих твоих стишат. «Ее прелестные слова». Гм, «прелестные»!.. Ты еще напиши: жемчужные! Скверно, друг мой Кузес, скверно и пошло. Девка сидит на коммутаторе, задерганная непрерывными звонками до такой степени, что, того и гляди, выматерит тебя... А ты — прелестные!

Холодок забрался под мою гимнастерку: мне стихи Кузеса ужасно понравились и больше всего именно — «ее прелестные слова». Но теперь я не признался бы в этом самому богу. Злые замечания худенького мрачного младшего лейтенанта принуждали верить только им. Сапер между тем продолжал:

— Напиши «служебные». Это будет правда, а главное — во сто раз поэтичнее.

Кузесу, очевидно, нелегко было расстаться с «прелестными», но в конце концов он согласился с ироническим своим собеседником. Прочел сызнова:

Я трубку снял. Сквозь вой метели,
Расслышанные мной едва,
До слуха быстро долетели
Ее служебные слова.

Сапер опять надолго умолк. Потом все же сказал:

— Сейчас лучше. Хотя «сквозь вой» — не бронзы звон. Рядом — «воз — войн»... Ну да черт с тобой. Пушкина из тебя все равно не получится. Чирикаешь, и ладно. Пошли, Лавра вон еду тащит! — Младший лейтенант оживился, проворно извлек из-за голенища ложку и, размахивая ею, как саблей, двинулся навстречу пожилому солдату, несущему в ведре какую-то еду.

Кузес продолжал сидеть на месте. Тогда я еще не знал почему. Узнал позже: у Юрки не было ни ложки, ни котелка, и он ждал пожертвований от солдат.

Когда кончился обед, я вышел из своего укрытия. Солдат-наборщик Миша Михайлов проводил меня в землянку редактора капитана Шуренкова. Тихий, весь светленький, редактор, вопреки моим ожиданиям, обрадовался, узнав о моем назначении:

— Очень хорошо, очень хорошо!

— Ничего хорошего нет. Я ведь никогда не работал в газете.

— Оч-чень хорошо... Что? Не работал?

— Никогда!

— Не боги горшки...

— Это я уже слышал, товарищ капитан. Поймите же наконец, я никогда, ни единого дня, ни единого часа не работал в газете. Вы со мной хлебнете горя! Начподив, наверное, не с той ноги встал сегодня. Но вы-то при своем уме! Что я буду у вас делать? Тут люди вон стихи пишут, а я...

Я поставил на карту все, чтобы меня вытурили из редакции к чертовой бабушке, и минутами мне казалось, что цель достигнута, потому что после такого моего горячего и искреннего признания редактор притих, беспокойно замигал белесыми ресницами:

— Так-таки никогда и не работали в газете?

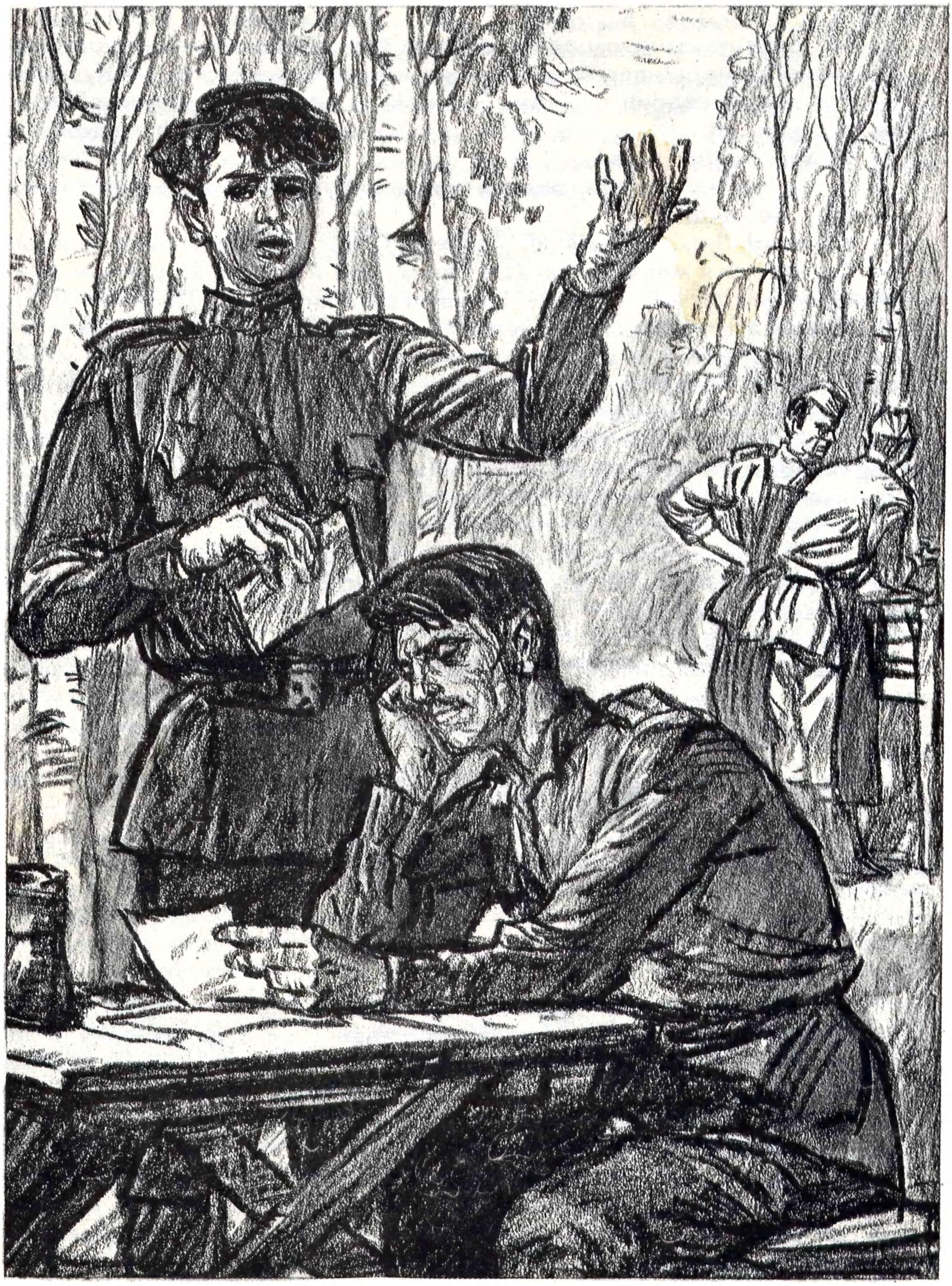
— Ни разу. Никогда! — с величайшей радостью подтвердил я.

— Ну что же. Очень хорошо. Будем учиться, — спокойно объявил Шуренков и, высунувшись из землянки, позвал: — Дубицкий! Зайдите ко мне на минутку!

В блиндаж вошел худенький младший лейтенант.

— Знакомьтесь. Это наш новый сотрудник, — указал на меня редактор. — А это — секретарь газеты, младший лейтенант Андрей Дубицкий. Знакомьтесь...

Познакомились. Я — охотно. Дубицкий — без всякого воодушевления.



Чтобы как-то расположить к себе, я сказал про его очерк о минометной роте.

— Вы тогда почему-то подписывались чужой фамилией?—спросил я.

Дубицкий поморщился точно так же, как при чтении стихов Кузесом:

— Это мой псевдоним — Ан. Степной. Я родился и вырос в Казахстане, в степи... Вы что, не знаете, что на свете бывают псевдонимы?

— Честно говоря, да.

— А вы, честно говоря, видали когда-нибудь, как делается газета?

— Нет, не видал.

— Чудесно! Знаете, старший лейтенант, мы с вами далеко пойдем.

— Что касается меня, то дальше передовой я никуда не уйду. А вы — не знаю, — сказал я, чувствуя, что начинаю злиться на Дубицкого. Его высокомерие и откровенная издевка подействовали на меня самым неожиданным образом: я решил, что останусь в газете и докажу этому новоявленному Печорину, что действительно не боги горшки обжигают.

«Постой же!» — думал я про секретаря, садясь вечером за сочинение первой своей корреспонденции. К утру статья была готова и тотчас же перекочевала в руки Дубицкого. Мне стало грустно. Готовый ко всему на свете, я все же был ошарашен тем, что услышал от Андрея.

— Роман сочинили, ваше сиятельство, — сообщил он мне, ядовито усмехаясь в свои рыжие казачьи усы. — С продолжением в десяти номерах будем печатать. По три колонки в каждом номере... Куда прикажете перевести гонорар?

Я рассвирепел:

— Довольно паясничать, товарищ младший лейтенант! Говорите, что думаете. И, пожалуйста, без дурацких сиятельств! Никуда не годится — так и скажите. Я и сам понимаю, что не бог весть какое чудо сотворил...

— Что верно, то верно. В полное собрание ваших сочинений сей шедевр, пожалуй, не войдет. Однако попробуем поправить... Садитесь, товарищ старший лейтенант, и приступим к делу. Вот только пойду спрячу котелок, не то Юрка Кузес утащит...

3

Худо ли, хорошо ли, но писать заметки в газету я научился сравнительно быстро и теперь поставлял их в дивизионку в количествах астрономических. Шуренков души во мне не чаял. Что же касается Дубицкого, то он, кажется, и не собирался менять своего насмешливо-снисходительного тона, когда речь заходила о моих статьях. Сначала я обижался, а потом увидел, что точно так же он относился к Юрке Кузесу и даже к редактору. Исключением был Валька Тихвинский. Вальку секретарь любил и вроде бы чуточку побаивался: добрый, милый, славный наш Валька, сделавшийся внештатным фотокорреспондентом дивизионки, был остер на язык, и тут не мудрено было косе попасть на камень. В соавторстве с Тихвинским Андрей сочинил две песни.

Одна называлась «Марш гвардейцев», а другая — «Котелок». Отыскался и композитор в дивизионном клубе — старший сержант Могутов. Он написал музыку. С той поры Дубицкий, Тихвинский и Могутов составили триумвират с постоянной штаб-квартирой в землянке секретаря дивизионки. Первую их песню распевала вся дивизия, вторая привилась только в саперном батальоне, где некогда служил один из ее создателей — Андрей. Не знаю отчего, но самому Дубицкому особенно по душе были две последние строчки из «Котелка». Вот эти:

Сапер молодой на широком ремне
Походный носил котелок.

Он повторял их с особенным упоением, и его обычно холодноватые, неласковые глаза, отражая душевную оттепель, начинали влажно блестеть.

Валька, Андрей и сержант Могутов писали стихи и печатали их в газете. Мне тоже захотелось сочинять стихи. Зарифмовав какую-то мыслишку, я решил немедленно обнародовать свое произведение. Не будучи, однако, вполне уверенным в его художественных достоинствах, я решил подписать стихотворение псевдонимом, который давно уже сложился в моей голове: «Зиш». Две первые буквы обозначали инициалы любимой, а третья — начальную букву ее фамилии. Под стихотворением, с легкой руки редактора появившимся в тот же день на страницах дивизионки, стояла подпись: «Мих. Зиш». Дубицкий скорехонько пронюхал, кто был автором стиха, и тотчас же сочинил свое, на манер крыловской басни «Мартышка и Очки». Стихотворение начиналось так:

МихЗишка к старости считать себя поэтом стала,
А от людей она слыхала,
Что этот грех не так большой руки.
Подумала плутовка, повздыхала,
Рифмишек плохоньких с полдюжины достала
И ну тачать стихи!..

Удар был смертельный, и муза моя, поперхнувшись, умолкла. Умолкла навсегда, навеки. Сейчас, спустя много лет, по трезвом размышлении, я очень благодарен Андрею: он первый понял, что своими стихами я не осчастливлю читающее человечество, и сказал мне об этом со свойственной ему жестокостью. Но тогда мне было до слез обидно. Некоторым утешением для меня могло быть то, что не один я был посрамлен таким же образом. В нашу дивизионку забрел как-то поэт Антон Ш., спецкор армейской газеты. Редакция устроила ему восторженную встречу. Дубицкий с превеликим трудом уговорил его написать для дивизионки хоть «несколько строчек». Часа два ходил взад-вперед около редакторского блиндажа поэт и все что-то мычал. Так появились на свет божий стихи, которым суждена была долгая жизнь:

Фриц разорил твою избушку.
Боец, возьми его на мушку!

Никто не предвидел последствий. А случилось нечто совершенно удивительное. Строчки поэта вызвали бурную волну творчества, захва-

тившую дивизионку. Сочиняли все: редактор, его заместитель, секретарь, литсотрудник, фоторепортер, композитор, наборщики, печатники и даже шофер. Вторую строчку сочинители оставляли неизменной, присовокупив к ней первую свою, «оригинальную». В результате явилось миру что-то около ста вариантов, которым мог бы позавидовать не один поэт. Вот некоторые из них:

Фриц раздавил твою кадушку.
Боец, возьми его на мушку!
Фриц распорол твою подушку.
Боец, возьми его на мушку!
Фриц со стола украл ватрушку.
Боец, возьми его на мушку!

И так далее, в том же духе.

Последний вариант, достойно увенчавший все прочие, принадлежал шоферу Лавре Еремину:

Фриц в огороде крал петрушку.
Боец, возьми его на мушку!

Руководителем мощного ансамбля сочинителей был, разумеется, Андрей Дубицкий. Нужно было видеть, сколько злого огня полыхало в его сереньких глазках.

4

Думалось, что Дубицкому доставляло истинное наслаждение сделать ближнему своему какую-нибудь неприятность.

Сейчас на память приходит случай, который мог бы закончиться трагически для Андрея.

Юра Кузес был влюблен, как, впрочем, были влюблены все мы, молодые, мечтательные, давно лишившиеся общества девчат. Но в отличие от него мы не читали вслух писем своих невест, не читали и собственных посланий к возлюбленным. Юрка же, прямодушный, доверчивый, восторженный и добрый, как теленок, читал нам и то и другое. Мы знали о предмете его воздыханий решительно все, некоторые письма девушки выучили наизусть, а ее фотографии были залапаны нашими грубыми ручищами. Одно лишь тщательно скрывал от нас Юра — то, что посылал ей деньги. Но и это скоро каким-то образом открылось. Однажды, когда Юрка прочел нам очередное письмо, полученное им от Тани, и был настроен особенно лирически, Андрей вдруг запел жутко скверным голосом:

Ку-узес деньги пе-ре-водит,
А к Татьяне хахаль хо-одит...

Юрка побледнел:
— Замолчи, Андрей...
Дубицкий не унимался.

Губы у Кузеса затряслись, в уголках их появилась пена, а правая рука судорожно расстегивала кобуру парабеллума. Я и редактор бросились на него, повалили на землю, вырвали парабеллум. Юрка перевернулся, ткнулся лицом в траву и долго лежал неподвижно. Дубицкий же как ни в чем не бывало присел на пенек, положил на острые сухие коленки фанерный лист, развернул на нем бумагу и стал тщательно, как всегда, вычерчивать макет следующего номера газеты.

Не удивительно, что мы с Кузесом не любили Андрея. Дубицкий об этом догадывался, конечно, но ему, кажется, на все было наплевать.

5

В двадцатых числах сентября 1943 года дивизия вышла к Днепру. Дождавшись ночи, полки начали переправу через реку. Вместе с ними перебрался на правый берег и я. За ночь продвинулись вперед километра на четыре, заняли хутора, а в следующую ночь были отрезаны немцами и окружены. Четверо суток вели бои во вражеском кольце. Батальоны несли большие потери. Балка, в которой укрывались штабы, была переполнена ранеными солдатами и офицерами. Связь с командным пунктом дивизии, находившимся у самого берега Днепра, некоторое время поддерживалась по радио, а потом вовсе прекратилась. Люди загрустили...

Я сидел на самом дне балки и тихо переговаривался с Сашей Крупицыным, помощником начальника политотдела дивизии по комсомолу. Даже он, никогда не унывающий Сашка, вроде бы тоже пригорюнился. И в такую-то минуту нежданно-негаданно в балку, притормаживая ногами, скатился... Дубицкий.

— Андрей, откуда ты?! — заорал я, ринувшись ему навстречу.

Он ткнулся прямо мне в нос пахнувшими полынью жесткими усами, как-то неумело, неловко, стыдливо обнял и, лаская меня потеплевшими, сияющими глазами, задыхаясь, твердил:

— Жив, значит, а?.. Ваше сиятельство!.. А? Жив?! Вот здорово!

— Живой, живой, что мне сделается! Ну, а ты-то... как же это... а? Зачем ты тут? Как пробрался?

— На пузе... Материала нет... Печатать нечего! Юрка, черт, тоже где-то застрял...

Мы уединились и, перебивая друг друга, начали рассказывать о пережитом. Я спросил между прочим:

— Андрей, зачем ты обидел тогда Юрку? Он славный! Разве ты не видишь, как он любит ее?

Дубицкий нахмурился.

— Она ж его обманывает, — сказал он убежденно. — Объятия в каждой строчке, поцелуи, опера «Пиковая дама», выспренние книжные слова: «Мой ангел...» Тьфу, какая гадость! Порядочная девушка не будет так писать: «Заключу в свои объятия...» А он, дуралей, не понимает. Как ты думаешь, Юрка все еще переводит ей деньги?

— Точно не могу сказать. Но, кажется, нет.

— Очень хорошо! — обрадовался Андрей и продолжал необычно взволнованно: — У него же мать, сестренка... бедствуют в эвакуации. Пускай им побольше высылает. А эта бесстыдница не пропадет! — Он замолчал, и лицо его сделалось опять злым, холодным.

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Много окопных военкоров было у дивизионки. Большей частью это рядовые солдаты: стрелки, пулеметчики, артиллеристы, минометчики, саперы, связисты, разведчики... Когда на участке фронта, занимаемого дивизией, наступало затишье, военкоры собирались в редакции на однодневный семинар, руководимый обычно редактором или секретарем газеты.

Удивительный народ военкоры! В белых, вылинявших на солнце и на ветру гимнастерках, огрубевшие, с большими, тяжелыми руками, привыкшими крепко держать оружие, бесконечно далекие от профессии газетчика, они испытывали неистребимое, какое-то трепетное благоговение перед печатным словом и ради него мужественно брались за непривычное им дело, отдавали ему целиком редкие минуты отдыха, испытывая не столько муки творчества, сколько просто муки, муки физические.

Глядишь, бывало, на такого сочинителя, и душа наполняется жалостью к нему: потеет, сердешный, грызет, слюнявит карандаш, высунув язык, выводит первое слово, страдает, видя, что ничегошеньки-то у него не получается.

Но зато как загорались его глаза, когда наборщики брали заметку, приведенную в божеский вид секретарем газеты или литсотрудником, мудрили над ней минут десять, а потом показывали ее автору свежий оттиск, именуемый гранкой. Удивление, восторг, минутная растерянность перед сущим чудом — эти чувства одно за другим отражались на сияющей, великолепной физиономии паренька, родившегося где-нибудь в глухой Марьевке либо Ивановке...

— Во... черт!.. Как же это, а? Вот так штука! — бормотал он, поднося к самым глазам мокрую гранку и принюхиваясь к острому запаху — тому самому запаху, без которого жить не могут старые газетные волки и который водится только в типографиях и нигде больше.

Сотрудники редакции дружили с военкорами, особенно Юра Кузес и Валька Тихвинский, больше находившиеся в солдатских окопах, чем в расположении нашей дивизионки. Кузес, например, пропадал неделями, и его приходилось разыскивать. Будучи в офицерском чине, он меньше всего заботился о соблюдении правил армейской субординации и в отношении «нижних чинов» вел себя в высшей степени демократично. Говоря определеннее, Юра был с ними запанибрата, и солдаты называли его больше по имени, нежели по воинскому званию. В иных обстоятельствах такое поведение офицера могло принести лишь вред. В нашем же, газетном деле оно было на пользу. Младшему лейтенанту

Кузесу, державшемуся с солдатами как равный с равными, бойцы раскрывались до конца, рассказывали решительно все о себе и о своих товарищах, не исключая интимнейших сторон их жизни. Нередко Кузес и Тихвинский возвращались с передовой в сопровождении одного, а то и двух своих военкоров. Это очень нравилось редактору, которого хлебом не корми, а дай только послушать людей из окопов.

Однажды ребята привели в редакцию бойца, внешний вид коего мог повергнуть в крайнее отчаяние ревнителей воинской выправки. Солдат был хром, шел, припадая на левую ногу и волоча правую; плечи соответственно перекошены, на них нелепейшим образом висела рыжая, похожая на попону шинель с хлястиком, еле державшимся на одной пуговице; пилотка размеров необыкновенных от пота по краям потемнела — будто не снимал он ее с времен Очакова и покоренья Крыма — и блином лежала на продолговатой голове солдата; голенища кирзовых сапог были так обширны, что звонко шлепали по икрам ног; противогазная сумка, переквалифицированная в вещевой мешок, болталась за спиной. Словом — чучело гороховое, а не воин.

Дубицкий, не страдавший излишней учтивостью, не спеша обвел насмешливыми своими глазами замечательную фигуру бойца и спросил:

— Где вы, други, отыскали такого добра молодца? Вылитый Платон Каратаев! Правда, Валька, откуда вы его?

— В твоем саперном батальоне, — охотно сообщил Тихвинский, мстя Андрею за его хвастовство: ежели верить словам Дубицкого, то в саперном батальоне служили одни чудо-богатыри.

— Не может быть! — Лицо Андрея сделалось несчастным. — Как же майор Быстров держит таких?!

— Вот держит.

Солдат тем временем стоял рядом, все слышал и только виновато улыбался.

— Да ты, Андрей, не торопись с выводами. Знаешь, какой это парень! — начал Кузес, влюбленный во всех людей на свете. — Он ночью разминировал для разведчиков проход во вражеское расположение. Пуговицы не успел пришить — мы помешали, увели с собой... А потом — его заметки самые оперативные и живые. Ты сам говорил...

— Какие заметки? Что ты городишь?

— Военкора Алексея Лавриненко[1] знаешь? Ну так вот он перед тобой!

Теперь смутился Дубицкий.

— Извини, солдат. Ведь я не знал, что ты Лавриненко. Пошли в мой блиндаж! — И Андрей крикнул шоферу: — Лавра! Открой-ка там «второй фронт» и фляжку прихвати!

Вскоре в блиндаж секретаря нырнул и Лавра, державший в руках банку американской консервированной колбасы и флягу в сером суконном чехле.

Так я увидел впервые одного из самых активных наших военкоров,

---

[1] А. Лавриненко послужил прототипом военкора Пчелинцева в романе «Солдаты»

чуть ли не ежедневно присылавшего заметки о подвигах своих товарищей. С того дня Лавриненко стал приносить их сам. К нему быстро привыкли и с нетерпением ждали, когда на опушке леса появится его нескладная, знакомая всем фигура.

Если почему-либо Алеша задерживался, мы начинали беспокоиться, проявляя это беспокойство всяк по-своему. Дубицкий, оставлявший на первой полосе место для «оперативного» материала Лавриненко, делался злее обыкновенного и с небывалой яростью набрасывался на Кузеса, по рассеянности утянувшего из секретарского пенала хорошо заточенный карандаш; Тихвинский близоруко щурился и без всякой надобности начинал тщательно и сосредоточенно протирать очки; шофер Лаврентий Еремин часами неподвижно сидел в кабине полуторки и все о чем-то думал; наборщики Макогон и Михайлов, молчаливые, ожесточенно выклевывали из касс черные буковки, делая при наборе материала ошибок в два раза больше обычной их нормы; наш славный первопечатник Иван Обухов почему-то никак не мог приправить полосу на своей доисторической «американке» и сквернословил так, что на полевой почте, расположенной поблизости от нас, сортировщица писем Верочка затыкала уши...

А спроси этих людей, отчего они не в духе, никто не укажет на истинную причину! Больше того, я готов поклясться, что ни один из нас в те минуты и не думал вовсе об Алеше Лавриненко: беспокойная мысль о нем жила подсознательно.

Но стоило ему появиться, как все вдруг преображались: Андрей весело обша́ривал Алешины карманы, извлекая из них заметки; Юра Кузес приветствовал пришествие военкора каким-то восторженным междометием; Валька стоял в сторонке и тихо, задумчиво улыбался, распустив припухлые свои, мягкие губы; Иван Обухов, высунувшись из закрытого кузова машины, скалил в доброй ухмылке щербатый рот; Лавра выскакивал из кабины и с несвойственной его летам прытью мчался на кухню за едой; озорной Макогон играл на губах встречный марш; Миша Михайлов обнимал Алешу, пачкая его типографской краской; редактор Шуренков старался поскорее утащить военкора в свою землянку и выудить у него последние новости с переднего края...

Сделав все свои дела в редакции, Лавриненко отправлялся на полевую почту, помогал там щекастой, круглой и румяной, как анисовое яблоко, Верочке сортировать конверты и только потом уж возвращался на передовую.

Как-то Алеша не приходил к нам целых две недели. Тихвинский уж собирался пойти к саперам и узнать, что с нашим военкором, почему он не бывает в редакции и не присылает заметки. Но к вечеру Лавриненко пришел сам и, не отвечая на вопросы наборщиков, кинувшихся ему навстречу, направился к Дубицкому.

— Где ты пропадал, орел? — обрадовался Андрей. — Давай корреспонденцию, а то на первую полосу ставить нечего!

Лавриненко, необычно подтянутый, в новенькой гимнастерке с белоснежным подворотничком, в новых, начищенных до сияния сапогах, ви-

новато засопел и вместо маленькой заметки положил перед изумленным секретарем толстенную общую тетрадь.

— Что это? — Андрей подозрительно посмотрел на сконфуженного солдата. — Неужели стихи?

— Угу. «Млечный П-путь». Поэму н-написал, — пробормотал Алеша: недавно он был контужен и с той поры заикался.

— А заметку? — спросил Андрей в отчаянии.

— Н-нет. Не н-написал.

Дубицкий тяжко вздохнул:

— Без ножа зарезал, разбойник!.. Ну давай свою поэму, почитаем... А что это за «В. А.»? Кому предназначено сие посвящение? Уж не Верочке ли? Тоже нашел Дульцинею! Зря, Алешенька, зря! Она, кажется, давно уж влюблена в нашего Вальку... — Андрей глянул на Лавриненко и, испугавшись, умолк: мучительная краска покрыла лицо солдата.

Андрей встал, порывисто взял военкора за плечи:

— Прости, Алеша... Прости, дружок... Какой же я подлец!

Лавриненко вырвался, выскочил из блиндажа и, припадая на левую ногу больше прежнего, быстро заковылял к лесу. Макогон, Михайлов и Еремин долго и недоумевающе глядели ему вслед.

А ночью до самого утра в землянке секретаря коптила лампа, сооруженная Лаврой из снарядной гильзы. Андрей и Валька, склонившись над Алешиной поэмой, приводили ее в порядок. Особенно старался Тихвинский.

— Как ты думаешь, Валька, стоит сохранять посвящение? — спросил его Андрей.

Тихвинский поднял голову и внимательно посмотрел в глаза Дубицкому.

— Обязательно! — горячо сказал он.

— Правильно! — согласился Андрей, радуясь чему-то.

Они вышли из блиндажа, чтобы глотнуть свежего воздуха. Не сговариваясь, глянули на небо. Над ними высоко-высоко белым мерцающим полотном от горизонта до горизонта протянулся великий звездный шлях, и среди этих звезд заботливо тарахтел крошечный невидимый самолет.

— «Кукурузничек» наш не спит, — тихо сказал Андрей.

Валька промолчал. Он не мигая все смотрел и смотрел на Млечный Путь, распростершийся над огромным загадочным миром.

Где-то совсем рядом в уютном блиндажике крепко спала Верочка.

АТА НИЯЗОВ

Его «открыл» для дивизионки Юра Кузес. С неких пор на страницах нашей газеты замелькала фамилия Ниязов. Она стояла обычно под самыми горячими, взволнованными, или, как любил говаривать наш редактор, «эмоциональными», корреспонденциями и по этой-то, видать, причине скоро перекочевала и на полосы армейской газеты, породив ревнивое чувство у Шуренкова.

Когда в наших умах возникала какая-нибудь идея, сулившая в недалеком будущем «гвоздь», Кузес восклицал:

— Это может сделать только Ата Ниязов!

— А не подарит твой Ата нашу идею Погарскому? — сердито спрашивал Шуренков, имея в виду редактора армейской газеты, славившегося среди работников фронтовой печати сказочной репутацией виртуоза в журналистском деле. — Ты бы, Юра, хоть привел Ниязова в редакцию. Я б побеседовал с ним, разъяснил ему, что существует на свете такая штука, которую зовут газетной этикой. А еще лучше — проведи меня сегодня же к нему, — вдруг решил капитан.

Под вечер Кузес и Шуренков отправились на передовую.

Миновав урочище, они очень скоро достигли того места, где когда-то было селэние, а сейчас только мрачные, черные и длинные печные трубы, жутко целившиеся в небо, говорили о том, что селение тут все-таки стояло. Сколько же лет оно стояло? Сто... двести... триста? А может, и всю тысячу? Сколько поколений родилось тут, жило, умерло, вновь родилось, опять умерло и опять родилось?! Сколько девичьих песен прозвенело, сколько влюбленных сердец протрепетало...

Шуренков нахмурил белесые брови, по-ребячьи шмыгнул носом и еще раз окинул взглядом безрадостную картину. Уродливые обломки домов, щербатые черные провалы погребов, заброшенные, полусгнившие, запыленные колодцы, в которых где-то глубоко-глубоко печально и тускло брезжила вода, подернутая неживой пленкой, точно глаз тяжело раненного умирающего человека.

От такого зрелища на душе становилось тоскливо и одиноко. Хотелось скорее бежать отсюда, увидеть людей и говорить с ними, говорить... Но для этого Шуренкову и Кузесу надобно было метров двести проползти по-пластунски, спрыгнуть в ход сообщения и по нему спуститься к реке, отыскать там землянку заместителя командира батальона по политчасти гвардии капитана Ниязова — этого чудесного, по словам Кузеса, туркмена.

Ползли они минут сорок, а казалось — целую вечность. Немцы почему-то облюбовали этот клочок земли, названный нашими солдатами «долиной смерти», для своих методических минометно-артиллерийских налетов: когда б ни полз через эту проклятую долину, обязательно угодишь под обстрел.

Кубарем свалившись в ход сообщения, журналисты некоторое время сидели на его дне и, потные, грязные, виновато глядели друг на друга, будто совершили что-то стыдное, недостойное настоящего человека. Вот и скажи теперь кому-нибудь о своей удали, когда ползаешь на животе перед противником. На войне, как известно, ползают на брюхе все, но никто еще не испытывал при этом радости и никому еще в голову не пришло похвастаться этим...

— Вас не задело, товарищ капитан? — спросил редактора жалостливый Кузес, оглядывая маленькую, щуплую, далеко не воинственную фигурку сидящего перед ним человека.

— Нет, ничего, Юра. Пойдем дальше.

Они поднялись и быстро пошли, ориентируясь по указателям, расставленным по всему ходу сообщения, к реке. Низкорослый Шуренков шагал не пригибаясь. Кузесу же приходилось переламываться в узкой своей, девичьей талии чуть ли не надвое, чтобы его голова не маячила над траншеей.

По тугой прохладке, властно вторгнувшейся в траншею и вдруг обнявшей их, они поняли, что река близко. Заспешили.

— Ну, скоро, что ли? — неторопливо спросил Шуренков.

— Сейчас, товарищ капитан. Вон за тем изгибом...

За изгибом траншеи их остановил было черный, как египтянин, солдат, но, быстро узнав Кузеса, обрадовался, заулыбался, сверкнул белой молнией зубов, сказал:

Наш Юрыка пришель... хорошо пришель! Каптан в блиндаже...

Откинув плащ-палатку, служившую дверью, Шуренков, а за ним Кузес ступили в землянку и тотчас же закашлялись от густого, горячего и пахучего пара, хлынувшего в легкие, — вот так бывает, когда ты из предбанника открываешь дверь в парную деревенской бани где-нибудь на средней Руси.

В ответ на кашель журналистов откуда-то из-за этого густого, многослойного пара раздался сочный, неудержимо радостный смех, а затем послышались и слова, такие же сочные и веселые:

— О вай-вай-вай! Юрыка!.. Редактор!.. Давай сюда. Будем чай пить, наш, туркменский... Товарыщи бойцы, посторонись мало-мало!..

Пар вылетел, как в трубу, через дверь землянки. Теперь Шуренков мог хорошо рассмотреть своего испытанного военкора и всех остальных, кто находился в блиндаже. Гвардии капитан Ата Ниязов, широкоплечий, коротконогий, большерукий, с черными, горячо поблескивавшими глазами, с горбатым носом, под которым — пучок аккуратно подстриженных, аспидной черни усов, узколицый, сидел на дне землянки, сложив ноги по-восточному, кренделем, и держал в руке на уровне рта большую пиалу. У его ног стояло ведро, наполненное какой-то темно-зеленой жидкостью, источавшей терпкий, ароматный запах.

Вдоль стен точно в таких же позах сидели солдаты — русские, туркмены, казахи, украинцы, узбеки — и держали в руках большие жестяные кружки. Лица их лоснились и от пота, и от широких улыбок, не успевших сойти после веселой беседы.

— Это мои ежедневные гости, — указал Ниязов на бойцов. — Пулеметчики, стрелки, связисты... Герои! Фрица бьют знаешь как! Вай-вай-вай! Как они его бьют!.. Слюшай, расскажу... Вон видышь... это Иванченко... Вчера разведка боем бил... Так Иванченко из своего «максимки» знаешь сколько фашистов уложил? Вай-вай-вай!.. — Ниязов опустил пиалу на пол и тут же извлек из кармана конверт. — Давай бери, редактор, для своей газеты. Тут все написано, вместе с комбатом Коноваловым писали. Бери! Вай-вай, сколько он их убиль!..

Ата присвистнул и опять радостно захохотал.

Засмеялись и солдаты. Засмеялся Кузес. Растянулись в невольной улыбке и тонкие, бледные губы неулыбчивого нашего редактора.

Ниязов тем временем принялся рассказывать по очереди обо всех сидящих в блиндаже, и из его рассказов получалось, что тут были одни герои — вот только никак нельзя было из его слов уразуметь, какой же из них самый главный герой.

Наконец Ата скомандовал своим гостям:

— Ну, товарищи, теперь па мистам! Пускай другие идут в мою чайхана. Весь батальон буду угощать!

Вскоре землянка наполнилась второй партией солдат, а за второй явилась третья.

Ата сидел на своем месте, как заправский чайханщик. Пот ручьями катился по его лицу, атласно блестела смуглая кожа, сверкали рафинадной белизны зубы, оттененные черной щеткой усов под вислым носом. Бойцы тоже были потные. От их молодых, здоровых распаренных тел веяло бодрящим духом живой плоти.

Кузес шепнул на ухо Шуренкову, что Ата Ниязов не хвастается, что такой уж порядок заведен у него в батальоне и что поэтому-то солдаты так любят своего замполита, своего «туркменчика».

Они просидели у Ниязова до полуночи, и редактор так и не сказал хозяину о «газетной этике». Ата проводил их до опушки леса, проползши туда и обратно по-пластунски, а когда вернулся к себе, раздались первые выстрелы...

Днем мы узнали, что Ата с небольшой группой своих солдат был отрезан от батальона и окружен немцами, что все попытки прорваться к окруженным пока безуспешны.

— Товарищ капитан, разрешите мне пойти туда! Товарищ капитан! — умолял Юра редактора.

Тот долго не соглашался, но под конец все же уступил:

— Ладно. Но только пойдем вместе.

И вот они лежат в солдатской цепи, готовящейся к очередной контратаке. Оттуда, где находилась землянка Ниязова, доносятся винтовочные выстрелы, автоматные очереди: частые и гулкие — наших ППШ, редкие дробные — немецкие; изредка — гранатные разрывы. Среди лежавших рядом, трудно, горячо дышавших солдат Шуренков и Кузес узнают своих вчерашних знакомых, тех, с которыми они «гоняли чаи» в ниязовской чайхане.

— Ребята, неужели не прорвемся, а? — спрашивал Кузес, воинственно щелкая затвором карабина, взятого напрокат у старшины стрелковой роты.

Солдаты между тем молчали. Только темные тугие желваки вспухали на побледневших скулах.

На этот раз они прорвались. Шуренков и Кузес не успели даже сообразить, как это все произошло, когда увидели Ниязова, всего израненного, на солдатских руках. Заметив журналистов, он как-то неловко улыбнулся, сказал слабо:

— Иванченко... вай-вай-вай! Сколько он уложил фашистов! Напишите о нем, ребята! Я не могу, вот вернусь, тогда...

Кузес и Шуренков написали. Но не только об Иванченко. Это была первая корреспонденция, в которой рассказывалось и о подвиге — далеко не первом подвиге — нашего военкора и нашего друга Аты Ниязова.

Позже, вернувшись из госпиталя, он очень сердился, что газета так поступила:

— Вай-вай... Зачем? Как я теперь буду глядеть в глаза солдатам? Нашли героя! Иванченко — то да! А я?

Мы, однако, нисколечко не опасались за его авторитет и были, конечно, правы: с той поры солдаты еще крепче привязались сердцем к своему замполиту. А он по-прежнему писал обо всех своих боевых побратимах в нашу газету.

Потом Ниязов уехал на учебу.

Где он сейчас? Кто они, эти счастливцы, которые каждый день могут слышать его сочный, исполненный незамутненного ребячьего счастья смех?

МАКСИМЫЧ

Много недель спустя автор несчастного «Млечного Пути» Алеша Лавриненко прислал с переднего края небольшую заметку. В ней сообщалось о возвращении из госпиталя рядового Гурьяна Максимовича Прибыткова, отличившегося в боях. Было сказано, между прочим, что Прибытков пожелал вернуться в минометную роту, в которой служил ранее и из которой его почему-то перевели в стрелковую незадолго до ранения.

Прочтя заметку, я тотчас же отправился на передовую.

1

Максимыч!..

Когда я думаю о фронтовых буднях, почему-то непременно вспоминаю этого старого мудрого солдата. Как появился он в минометной роте, не знаю. Похоже, что он служил в ней со дня формирования, потому что совершенно невозможно было представить нашу роту без Гурьяна Максимыча Прибыткова. Можно даже сказать, что Максимыч являлся душой роты, хотя исполнял в ней едва ли не самые скромные обязанности: он был ездовым — этот безропотный страстотерпец военных дорог. Самый высокий свой чин — звание ефрейтора — Максимыч приобрел лишь к концу второго года войны и гордился им несказанно. Любил в связи с этим порассуждать.

— Что такое есть ефрейтор?— важно спрашивал он кого-нибудь из молодых бойцов, делал необходимую в подобных случаях паузу и затем сам же отвечал: — Ефрейтор есть старший солдат. А это, брат,

понимать надобно. Старший — стало быть, с него и больше спрашивается. А ты... — и Максимыч сердито умолкал, словно с ним кто-то не соглашался или собирался спорить.

Родом ярославец, он до тоски сердечной любил свою Волгу. Говорил о ней особенно ласково и доверительно. Человек не суеверный, Максимыч готов был приписать матушке-Волге любые сверхъестественные силы, утверждал, что все свои богатырские свойства русские люди черпают в ней, Волге.

И, ежели с ним не соглашались, горячо выкладывал свой главный козырь:

— Горький Максим где родился? А Чкалов? А Владимир Ильич Ульянов-Ленин?! То-то же и оно!

Солдаты добродушно посмеивались и в конце концов уступали веским доводам Максимыча. В награду за это получали от него добрую щепоть отличнейшей махорки — он делал ее сам, и потому махорка также составляла предмет немалой гордости Максимыча. Насчет табака ездовой придерживался своего мнения, или, как он выражался, «принципа».

— Табак — продукт мудреный. Его с головой надо курить — тогда будет толк и польза. Не то один вред получается.

Что значит «курить с головой», Максимыч не пояснял, считая, видимо, излишним.

Не знаю, видел ли кто-нибудь Максимыча спящим. Лично я — нет, не видал. Правая рука ротного старшины, ездовой был поистине неутомим. Привезет, бывало, мины, перекусит малость и опять в путь, на склад за продуктами. Вернется, накормит лошадей, примется чистить их скребницей. А коли это на новом месте, тут же начинает рыть укрытия, чтобы, значит, ни один шальной осколок, ни одна шальная пуля не смогли задеть коней. С лошадью он разговаривал, как с человеком, — то ласково, то сурово и строго; соответственно и обращался с нею — отечески-заботливо, а порой ворчливо.

Нельзя было без умиления наблюдать, как Максимыч стягивает со своих острых плеч порыжевшую от конского пота и времени шинель, чтобы укрыть ею лошадь в студеную или дождливую пору. При этом он любил говаривать:

— Лошадь — существо бессловесное. Попросить не могёт. А ты — человек. Стало быть, сам догадаться должен. На то тебе и разум даден. В этом весь принцип!

У Максимыча ровный характер. Такой обычно бывает у людей, которым перевалило далеко за сорок; люди эти успели уразуметь некую постоянную величину житейской мудрости, когда окончательно ясным становится сокровенный смысл жизни и великая радость человеческого бытия.

Максимыч находил эту радость там, где другой не мог найти.

Залетит, скажем, в наш блиндаж смелая ласточка — мы ее и не заметим. А Максимыч долго и молча наблюдает, как маленькая пичуга, мелькая белоснежным брюшком, искусно лепит под бревном наката

свое гнездо; морщины на лице ездового разглаживаются, будто кто-то невидимый водит по нему утюжком-невидимкой. И когда ласточка улетает, Максимыч скажет тихо и взволнованно:

— Экая хитрунья! Ну что за мастерица! Вы только гляньте, как она ловко, шельма, приклеивает комочек к комочку. И кто только ее учил!..

И принимается пространно, с видимым наслаждением философствовать. Мы обычно молча слушаем Максимыча и не замечаем, как старый этот ведун постепенно проникает в наши души. Не понимаем, отчего нам вдруг становится радостно; начинаем вспоминать только все светлое; на время нас вовсе покидают мрачные думы, будто уж и нет этой страшной войны и нет наших тяжких утрат; всеми властно владеет одно ощущение: как же хорошо жить на белом свете!

Никому из нас, разумеется, в такие минуты и в голову не приходило, что своим приподнятым настроением мы обязаны Максимычу. Скажу больше, мы едва ли замечали его и не думали о нем: ведь здоровый человек совершенно забывает о своем собственном сердце, оно бьется ровно, незаметно делает свое дело — значит, так нужно, и думать тут нечего...

Максимыч не впадал и в крайнюю веселость, не смеялся, как другие, заразительно, до слез, до кашля. И тем не менее это был очень жизнерадостный человек. Он всегда пребывал в добром расположении духа. Правда, частенько ворчал на солдат: со свойственной их возрасту беспечностью бойцы не были рачительными хозяевами ротного добра, не особенно берегли «обмундировку» и уж совсем небрежно обращались с противогазами. За все это ездовой бранил их, подолгу отчитывал, порой забывая, что явно превышает свою ефрейторскую власть. И когда кто-нибудь из молодых солдат осмеливался напомнить об этом, Максимыч сердился еще больше, доставал из своего вещевого мешка устав и, тыча пальцем в какой-то параграф, грозно внушал:

— О субординации вспомнил! Ишь какой выискался! А тут что написано? Что, я тебя спрашиваю?! Солдат обязан удерживать своего товарища от дурных поступков словом и делом. Это что для тебя — не закон? Не принци́п?.. Удерживаю тебя, дурня, покамест еще словом. А доведешь до греха — и делом удержу! — И Максимыч внушительно вертел в руках ременный, сплетенный под змейку кнут.

Но и сердился ездовой по-своему, «без сердца», что никак не нарушало его ровного душевного состояния.

Один только случай надолго выбил Максимыча из колеи. И вот о нем-то я и рассказал своим новым товарищам по дивизионке.

2

Ранним январским утром 1943 года батальоны нашей дивизии ворвались в небольшой хуторок. Населенный пункт этот сам по себе ничем не примечателен. Но взятие его для дивизии явилось

событием немалым: четыре месяца она стояла перед хуторком и десятки раз пыталась овладеть им, но безуспешно. «Все наши атаки отбиты противником», — чуть ли не каждый день сообщал генерал командующему армией. Фронтовики, конечно, понимают, что таилось в этой горькой фразе... И вдруг — хуторок пал! Правда, от населенного пункта давно уж осталось одно лишь название. Только какая-то мазанка, стоявшая на отшибе, уцелела.

И уж никто не думал, что в мазанке осталось живое существо. И существом этим был мальчуган. Первым его обнаружил Максимыч, облюбовавший помещение для своей роты: кроме прямых своих обязанностей ездового, он нередко выполнял у нас роль квартирьера и отменно справлялся с этой нелегкой ролью. Выяснилось, что мальчишка жил в мазанке с матерью все эти страшные четыре месяца. Отступая, фашисты расстреляли мать — ее труп Максимыч обнаружил в снегу, недалеко от жилища, и похоронил в братской могиле. После того как над студеной равниной, искусанной осколками мин и снарядов, прозвучали трескучие залпы салюта, Максимыч вернулся в мазанку.

— Ну что же мы будем делать с тобою? — Ездовой поднял малыша на уровень своих глаз и долго глядел в его худое, бледное личико. — Ты хоть скажи, как тебя зовут?

— Никитка.

— Никитка? Ну, а меня Максимычем величают. Вот мы и познакомились. — Старый солдат опустил Никитку на пол и долго стоял в нерешительности. — Ты побудь тут малость один, Никитка. Я сейчас...

Максимыч вышел на улицу и вернулся с двумя банками консервов и кирпичиком черного хлеба.

— Будем с тобой обедать. Поесть, поди, хочешь?

— Хочу.

— Ну, я так и знал.

3

В роте появилась «внештатная единица» — маленький Никитка. Само собой разумеется, что мальчишка полностью поступил на попечение Гурьяна Максимыча Прибыткова. С молчаливого согласия старшины ездовой решил оставить Никитку при себе: кругом неразбериха, сплошные разрушения; работа советских учреждений еще нигде окрест не была организована как следует, куда ж денешь малыша? Да и времени на устройство Никитки ни у кого из нас не было. Войска хоть и медленно, но непрерывно продвигались вперед, час за часом сжимая и дробя окруженного противника. Минометчики то и дело меняли позиции. А дело это канительное: надо оборудовать огневые, отрыть хотя бы маленькие землянки (в захваченных у противника блиндажах кишмя кишели насекомые, и мы, понятно, этими блиндажами не пользовались); нужно было подвезти боеприпасы, продукты, фураж. А стужа — лютая; по снежной равнине, по многочисленным в тех местах балкам и вокруг курганов металась вьюга.

Максимыч отощал. Много у него было хлопот и раньше, а теперь они увеличились по крайней мере вдвое: Никитка требовал к себе внимания. Этому «сыну полка» было, вероятно, не более шести лет, и он, конечно, еще не мог ходить в разведку, исполнять обязанности связного, повозочного, телефониста, как это делали двенадцатилетние мальчишки, выброшенные войной из родного гнезда и нашедшие приют на фронте в суровой солдатской семье.

Максимыч редко оставлял Никитку в блиндаже. Закутав малыша в свой полушубок, ездовой обычно возил его с собой, приткнув где-нибудь в уголке повозки — промеж ящиков с минами или мешков с сухарями. При этом Максимыч не забывал время от времени справляться:

— Живой, Никитка?

— Жи-ивой! — пищало чучело.

— А сопли не отморозил?

— Не-э-э.

— Молодчина, Никитка! Крепись, солдатик. Сейчас доедем, натопим печку, отогреемся.

Приезжали на огневые. Первым долгом Максимыч снимал с повозки Никитку, относил его в землянку и только уж потом разгружал все остальное. Управившись с делами, торопливо шел обогревать и кормить питомца. Никитка до того привязался к Максимычу, что не мог остаться без него и часа...

Я и мой старшина видели, как трудно было ездовому, и только ждали случая, чтобы избавить Максимыча от этой новой для него и нелегкой нагрузки. Порой мне даже казалось, что и сам он тяготится неожиданно свалившейся на его плечи обязанностью, но не показывает виду.

Словом, я принял твердое решение при первой же возможности «отчислить» Никитку из роты. В конце концов, фронт — не очень подходящее место для детского сада.

Ездовому, когда он приехал с термосом на НП, сказал:

— Потерпи немного, Максимыч. Скоро дивизию отведут на отдых, и определим где-нибудь твоего Никитку...

Максимыч насупился:

— Зачем определять? Он мне не мешает...

— Ну, ты это оставь. «Не мешает»!.. Вижу, как он тебе не мешает. На лице-то одни глаза да скулы остались. Ноги скоро не будешь таскать.

— Никитка тут ни при чем, товарищ лейтенант.

— Хватит об этом, Максимыч! — прикрикнул я на ездового, полагая, что сейчас Максимыч кривит душой.

4

Второго февраля 1943 года враг окончательно капитулировал в Сталинграде. Войска, участвовавшие в разгроме 6-й немецкой армии, вдруг оказались в глубоком тылу. Наступила непривычная тишина — даже отдаленного артиллерийского гула не было слышно. Непередаваемое блаженство испытывали наши солдатские души!

Дивизию отвели в большую станицу, неизвестно как уцелевшую в придонских степях, и там мы целый месяц отдыхали. Более подходящего момента для определения Никитки ждать было нечего, и, связавшись с председателем станичного Совета, я быстро пристроил Никитку к одной бездетной казачке, с радостью принявшей сироту. Отвел малыша к ней сам Максимыч. Что говорил он казачке, мы не знаем, и что говорила она ему — тоже неизвестно. Вернувшись в роту, ездовой спокойно принялся за свои дела. За два дня он привел в порядок транспорт. Сам тщательно побрился, постирал обмундирование и выглядел настоящим женихом. Его острые плечи приподнялись, развернулись, стали просторнее. Это и дало повод какому-то ротному острослову «поддеть» Максимыча:

— Что это ты, старина, принаряжаться да прихорашиваться стал? Гляди, как бы она тебя... Знаешь, какие они, казачки!..

— Не твоего ума дело, — резко оборвал солдата Максимыч, — утри вот сначала у себя под носом...

Более уж никто не рисковал приставать к ездовому с недобрыми намеками.

5

В начале марта мы погрузились в эшелон и тронулись по звонким рельсам навстречу новой своей судьбе. Во время погрузки, в хлопотах, мы и не заметили, простился ли Максим с Никиткой или нет. Я видел его в последнюю минуту перед товарным вагоном — Максимыч ехал отдельно от нас, вместе со своими лошадьми, — видел его веселым и, как всегда, деятельным.

— Ну, как у тебя дела, Максимыч? — на ходу бросил я просто потому, что должен же командир сказать что-то своему подчиненному, хотя надобности в этом не было никакой: я лично знал, что у Максимыча всегда все в порядке. Так он мне и ответил:

— Все в порядке, товарищ лейтенант!

Вскоре дивизия вступила в бой, который был длительным и тяжелым. Мне долгое время не удавалось побывать в расположении своей роты, то есть на огневых позициях: обстановка требовала того, чтобы командир роты неотлучно находился на НП.

Но вот гитлеровцы отброшены за реку, фронт мало-помалу определился, и началась обычная жизнь переднего края при обороне: рытье окопов и траншей, оборудование основных и запасных огневых позиций. Теперь я мог чаще приходить в роту.

Получив разрешение от начальника артиллерии, я покинул НП и к полудню очутился на огневых. Первым, кого увидел там, был... Никитка. Трудно поверить глазам своим, но вот он передо мною, этот маленький шустрый солдатик! Именно солдатик, потому что Никитке уже успели сшить военную форму. Мальчишка стоял рядом с минометной трубой, молчаливо и сердито глядевшей в синее небо, и пытался дотянуться ручонкой до ее верха.

Заметив меня, он хотел было прошмыгнуть в ровик, перекрытый бревнами, но я успел перехватить его. Оказавшись в моих руках, он громко заревел. Это смутило и одновременно разозлило меня.

— Максимыч, ко мне!

Но ездовой уже сам подходил к огневой: до этой минуты он, похоже, наблюдал за нами издали.

— Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант!

— Немедленно запрягай лошадей!

— Слушаюсь.

Через полчаса мы уже ехали в поселок. На этот раз с помощью районных властей мне удалось устроить Никитку в детский дом. Поступок ездового показался мне столь безрассудным, что в оба конца мы проехали с Максимычем не разговаривая. Да и потом я еще долго не мог говорить с ним.

Дела на огневых позициях были закончены, и я вскоре вновь перекочевал на НП. Максимыч отделался — за неимением гауптвахты на фронте — выговором и как будто успокоился вовсе. Обязанности свои он выполнял добросовестно, ни на что не жаловался, и поэтому я был немало удивлен, когда однажды старшина доложил мне:

— Товарищ старший лейтенант! Вы бы наведались на огневые. С Максимычем что-то того... неладно... Нет, нет, товарищ старший лейтенант, — заметив на моем лице тревогу, заспешил старшина, — службу несет исправно. Тут у меня к нему никаких претензий. Только что-то уж духом пал. Грустит о чем-то. О Никитке, должно... Ни с кем не разговаривает. Ходит как чумной... А вчерась вижу: уткнулся головой в лошадиную морду, а плечи трясутся. Плачет. А ныне вот еще что отчубучил...

Старшина проворно расстегнул брезентовую полевую сумку и извлек оттуда небольшой листочек.

— Вот... почитайте, товарищ старший лейтенант!

Я взял листок и стал читать:

«Командиру минометной роты

Заявление

Прошу товарища старшего лейтенанта отпустить меня в стрелковую роту.

Рядовой ефрейтор
Прибытков Гурьян Максимович».

Оставив за себя командира первого огневого взвода, я поспешил в роту. На сердце было тревожно: это ведь первый случай, когда солдат по доброй воле захотел уйти из моей роты. Не ожидал я такой обиды. И от кого? От Максимыча!..

Вызываю его к себе, спрашиваю, что заставило написать рапорт об уходе. Упрямо твердит:

— Хочу в стрелковую роту.

— А у нас разве тебе плохо, Максимыч?

Молчит. Стоит передо мною — руки вытянуты по швам, и только кончики пальцев чуть заметно вздрагивают да из-под ушанки струйками сбегает пот.

— Ну что ж, Максимыч. Не стану тебя неволить. — Что-то горячее и сухое подкатило к горлу, заслонило дыхание.

— Разрешите иттить, товарищ старший лейтенант?..

Я молча кивнул.

Губы Максимыча покривились, дрогнули. Он силился что-то сказать и не мог. Неловко повернулся и пошел от меня, качаясь, как пьяный.

6

Долго я не видел Максимыча. За будничной суетой не смог даже выяснить, в какую роту его определили начальники. Но я очень хорошо чувствовал, что в моей роте будто не хватало какой-то очень важной пружинки. И трудно было угадать, в каком именно месте, где, в какой части, казалось бы, несложного ротного организма действовала раньше эта пружинка. Но то, что такая пружинка существовала и что она являлась важной, сомневаться не приходилось. То вроде беспричинно загрустят бойцы, то вдруг заболеет лошадь, то старшина накричит на солдат больше и громче обычного...

Всего этого почему-то не случалось раньше.

7

Последний раз я встретился с Максимычем при совершенно неожиданных обстоятельствах. Неожиданных и печальных.

Случилось это под вечер 5 июля 1943 года, в день немецкого наступления. Солнце стремительно и как бы с радостью уходило за горизонт: должно быть, оно вволю насмотрелось разного страху за этот кровавый день. Пыль и дым сражения медленно оседали на землю. Невеселую картину дополняли бесконечные вереницы санитаров, выносивших с поля боя раненых и убитых бойцов.

Я сидел возле своего НП и, пользуясь долгожданной передышкой, затягивался махорочным дымом. И вдруг услышал рядом с собой удивительно знакомый голос:

— Товарищ старший лейтенант... Товарищ старший лейтенант!..

— Максимыч!..

Он лежал на санитарных носилках, весь забинтованный. Открытыми оставались одни глаза, которые влажно светились. Свежие пятна крови проступали сквозь марлю. Дышал он тяжело, а ему, видно, очень хотелось поговорить со мной. Я наклонился над ним. Максимыч беспокойно заворочался на носилках, силясь приподняться. Но его удержали санитары. Тогда он заговорил:

— Вы меня... старого дуралея, простите, товарищ старший лейтенант. Не мог я оставить Никитку... сил моих не было. Не мог... Нарушил ваше распоряжение и привез мальца сюда...

— Ничего, Максимыч, не нужно об этом... Что ж, у тебя, верно, своих-то детишек не было?

Он долго молчал — видать, не хватало мочи. Потом трудно глотнул воздух и все же сказал:

— Как не быть... Есть. Шестеро... Самому младшенькому пятый, кажись, пошел годок...

Максимыча унесли.

А я еще долго сидел на прежнем месте, низко опустив голову. «Шестеро... Как же я мог не знать этого!..» В те минуты, может быть, впервые я по-настоящему понял, как сложна человеческая жизнь. Я поступил, конечно, правильно в отношении Никитки — тут едва ли можно убедить меня в обратном, — но этого, видимо, не понял Максимыч, мудрый наш Максимыч. Почему же?.. Не потому ли, что в своем сердце я не нашел тех редких и единственных слов, которые одни только и смогли бы обогреть, успокоить смятенную душу старого солдата? И я подумал: как же проницателен и чуток должен быть человек, коему дано самое высокое и, может быть, самое трудное право на земле — право распоряжаться судьбой других людей.

С Максимычем я встретился в тот же день, как узнал о его возвращении от Алеши Лавриненко. И это была очень памятная встреча. А потом уж мы встречались часто — и до самого конца войны. Об его истории с Никиткой я рассказал на страницах нашей дивизионки. Разумеется, не столь подробно, как сейчас, — крохотный размер нашей газетки жестоко лимитировал, — но все же рассказал. После этого и у Максимыча и у дивизионки прибавилось друзей.

Максимыч...

Это был еще один хороший человек, с которым породнилась дивизионка.

«САМ КРУПИЦЫН...»

В судьбе нашей газеты совершенно особое место занимал Саша Крупицын — помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу. Он был как бы постоянным нашим шефом, любил дивизионку, ее сотрудников, сам часто писал заметки, а еще чаще «наводил» нас на след настоящих героев, по обыкновению всегда очень незаметных и скромных людей.

Гвардии капитан Александр Крупицын принадлежал к числу людей, без которых никак не обойтись на белом свете. Более того, нам иногда казалось, что без Саши Крупицына и сам-то белый свет не существовал бы, а если и существовал, то едва ли на нем было бы столько солнца, тепла и всякой другой благодати.

Вероятно, мы, по извечной слабости всех влюбленных, малость преувеличивали, но одно было несомненно: ежели мир с грехом пополам

как-то еще и обошелся бы без Крупицына, то наша «непромокаемая и непросыхаемая» дивизия никак уж не могла обойтись без Сашки. Подчиняясь суровым и грозным фронтовым законам, люди приходили в дивизию и уходили из нее; павшие в бою уходили навсегда, нередко не успев оставить хотя бы короткой памяти о себе; раненые возвращались, но не часто — гораздо чаще их направляли в другие соединения, даже на другие фронты. Словом, это было обычное кровообращение любого воинского организма, которому подвластны все, все, кроме тех немногих людей, которые как-то умудрялись не подчиняться этому закону.

Не подчинялся ему и Саша Крупицын — он был в дивизии всегда. И очень хорошо делал, что не подчинялся. Иначе в дивизии вдвое меньше было бы солдатских улыбок, крепких рукопожатий, задушевных бесед и добрых песен в землянках и блиндажах.

— Ты, Сашка, словно бог. Тебя ни одна пуля не берет, — говорили ему офицеры.

— Бог и есть, только комсомольский, — отшучивался Крупицын, набивая полевую сумку бланками комсомольских билетов (он готовился к очередному рейсу на передовую для вручения их принятым в ряды комсомола воинам).

Крупицын был человек веселый и даже озорной. Это понимал всякий, взглянув на его курносую физиономию, встретившись с его широко поставленными, какими-то дымчатыми глазами, коим вовсе противопоказано быть грустными.

И все-таки глаза эти бывали грустными, и довольно часто, — это после очередного боя, когда с передовой к нему возвращались недавно выданные им же самим билеты. В такие дни Саша надолго уединялся в своем блиндаже и так же, как его друг фотограф Валя Тихвинский, все перебирал и перебирал чуть вздрагивающими пальцами стального цвета книжечки, и ему даже казалось, что он чувствует теплоту рук их владельцев, тех, которым он, Крупицын, говорил свои горячие короткие речи, которых хлопал по плечу и которых уже никогда больше не увидит.

А к вечеру, с неизменной полевой сумкой, вместе с Валькой Тихвинским вновь уходил на передовую, беседовал с комсоргами, учил их, может быть, самому трудному на земле: как с помощью нескольких нехитрых, немудрящих слов воспламенять людские сердца.

Занятый своими делами, молодой и, в общем-то, довольно беспечный, сам Крупицын, конечно, и не подозревал, что в дивизии к нему так все привыкли, что не мыслят даже существование этой дивизии без него.

Выдав комсомольский билет солдату, Крупицын уходил в другую роту и по дороге думал о том, как поведет себя солдат дальше. Может, пойдет к старшине роты, выпросит кусочек целлофана, бережно завернет новый комсомольский билет и еще долго будет держать его в горячих ладонях? Или приблизится к своему отделенному и тихо, пряча глаза, нетерпеливо спросит: «Скоро ли в наступление, товарищ гвардии сержант?» И гвардии сержант немало удивится, услышав такое от сво-

его самого застенчивого, самого незаметного доселе и даже робкого солдата. Или, сменившись с дежурства у накрытого плащ-палаткой пулемета, быстро вернется в блиндаж и, запыхавшийся от волнения, станет рассказывать своим товарищам о беседе с Крупицыным и о том, как тот сразу же распознал, что у него на душе? Или, забыв про все на свете, тут же примется строчить письмо своей Наденьке, извещая ее о том, что стал членом Ленинского комсомола?..

Вот ведь какие следы оставлял ты за собой в солдатских окопах, Саша Крупицын!

Однажды гвардии капитан Крупицын пришел к дивизионным разведчикам. Пришел в тот момент, когда они уже облачились в пятнистые маскхалаты и ожидали команды, чтобы отправиться в ночной поиск.

В этот поиск впервые уходил новенький, по фамилии Филипчук, взятый в разведчики из стрелков.

Саша сообразил, что́ могло быть на душе у человека, впервые отправляющегося во вражеский стан, и, подойдя к Филипчуку, спросил:

— Комсомолец?

— Комсомолец, товарищ гвардии капитан.

— Билет старшине сдали?.. Не сдали?.. Где он у вас, покажите.

— А зачем, товарищ гвардии капитан? — спросил угрюмоватый солдат, невольно коснувшись левой части груди.

Саша покраснел. Ему показалось, что молодой разведчик каким-то образом узнал о его, Крупицына, тайных мыслях: Саше очень хотелось, чтобы билет, с которым разведчик не хотел расставаться, был выдан ему не кем-нибудь еще, а им, Крупицыным. Саше всегда доставляло удовольствие видеть свою заковыристую подпись в комсомольских билетах, а сейчас — особенно...

— Я помощник начальника политотдела по комсомолу, — сказал Крупицын строже.

Филипчук быстро развязал верхние шнурки маскхалата, долго копошился под гимнастеркой и наконец извлек оттуда билет.

Это была уже довольно потрепанная книжка, выданная парню перед самой войной одним сельским райкомом.

Саша глянул на подпись и невольно поймал себя на том, что разочарован. Устыдившись, покраснел еще больше, потом попытался улыбнуться:

— Стало быть, со стажем?

—. Так точно. Со стажем, товарищ гвардии капитан. Сам Парамонов, секретарь нашего райкома, вручал.

— Сам, значит, Парамонов? — почему-то переспросил Крупицын.

— Сам! — радостно подтвердил, сияя глазами, солдат. — Прямо в своем кабинете!..

Не зная отчего, но Саша почувствовал зависть к неизвестному для него Парамонову, а также совершенно уж непонятную обиду на солдата.

— Перед поиском документы полагается сдавать старшине, — холодновато заметил он.

— Это мы знаем, товарищ гвардии капитан. Только я упросил нашего старшину оставить билет при мне. Красноармейскую книжку сдал, а билет...

— А почему? — удивился Крупицын. — Это ж нарушение...

— Знаю, что нарушение. А не могу... без него...

— Так... ясно... — Крупицын долго и пристально смотрел на разведчика, не зная еще толком, как отнестись к этому факту...

Но на всякий случай сказал:

— Чтобы это было в последний раз.

— Що у последний раз, товарищ гвардии капитан? — переспросил солдат с сильным украинским акцентом, еще более смутив Крупицына.

— Ладно, я с вашим командиром поговорю, — поспешно вымолвил Саша, испытывая смешанное чувство досады и уважения к этому странному разведчику.

— Почему вы не взяли у Филипчука комсомольский билет? — спросил одновременно и командира и старшину Крупицын.

— Я было приказал, а он в слезы...

— Что?!

— В слезы, говорю, — подтвердил старшина.

— Как же такой... в разведку?

— А вот поглядим...

С той поры Саша чаще обычного стал наведываться в разведроту. И чувствовал, что причиной тому — Филипчук, на счету у которого теперь уже было несколько приведенных им «языков».

Билет он по-прежнему не сдавал старшине при уходе в поиск, и это тревожило и Крупицына и командира роты. Конечно, последний мог приказать Филипчуку, и тот бы подчинился, но как потом он будет вести себя в поиске?

Саша вспомнил, как однажды ему приснилось, что он потерял комсомольский билет. От страха он мгновенно проснулся, схватил себя за грудь и испытал великую радость, ощутив билет под рукой.

Короче говоря, для Филипчука продолжали делать исключение: он уходил в разведку с комсомольским билетом. К этому в роте все привыкли, никто из солдат не сетовал на такое исключительное положение Филипчука — может быть, потому, что успели полюбить его.

И вдруг случилось несчастье.

Крупицыну позвонили из разведроты и сообщили, что из поиска не вернулся Филипчук, что разведчики уже несколько раз плавали через Донец, но найти Филипчука не удалось. И еще несколько раз переправлялся вместе с ними через реку Крупицын.

Филипчук пропал без вести.

Пришлось сообщить об этом и его родным.

А потом боль от этой потери, не единственной в роте, стала утихать, давая о себе знать все реже. О смерти говорить не хотелось: уж очень часто она сама напоминала о себе. Не говорили и о том, о чем все-таки все думали: а что с комсомольским билетом? Не достался ли он врагу? Не объявился ли другой «Филипчук» где-нибудь в соседней диви-

зии?.. И ничего-то не подозревал «сам Парамонов», скрепивший когда-то своей подписью рождение нового комсомольца.

Об этом все думали, но молчали: уж очень тяжек был бы такой разговор...

Однако как ни мал человек, но и он, рано или поздно, отыщется в великом и бурном людском океане, не останется в конце концов безвестной отдельная судьба, где-то выйдет на поверхность нить, по которой будет разгадана тайна его исчезновения...

Филипчука обнаружили пехотинцы соседнего соединения во время разведки боем, произведенной в дневную пору, когда неприятель меньше всего ожидает нападения.

Проколотый немецкими штыками, лежал он вниз лицом в небольшой ложбинке, а над ним было высокое-высокое родное небо да кружился ворон, так и не решившийся опуститься на растерзанное тело русского воина. Пехотинцы осторожно перевернули его вверх лицом и увидели между полуоткрытых губ, в плотно сжатых зубах, не то кусок кляпа, не то кусок глины. С трудом разжав мертвый рот, они вытащили комок и только тогда поняли, что это не кляп, не глина, а изжеванный комсомольский билет...

Потом они нашли за отворотом пилотки крохотный листочек — с номером билета, с фотографией и фамилией убитого, с печатью и подписью Парамонова...

А потом увидели в виске пулевое отверстие. Поискали вокруг и нашли в траве уж покрытый ржавчиной пистолет «ТТ».

Вот и все. В дивизионке о Филипчуке появилась заметка за подписью А. Крупицына. В ней не было подробного описания подвига. Его свидетелем был только враг, а враг уничтожен. Так что нет свидетелей... И, видимо, Крупицыну не хотелось бедной своей фантазией и неточным описанием оскорблять и сам этот подвиг, и память совершившего его. Добавим лишь, что найденный за отворотом пилотки листочек, проделав долгий и извилистый путь по штабам и политотделам, добрался наконец до Саши Крупицына, и тот уже не расставался с ним до конца войны.

— А после войны, — тихо и взволнованно говорил он нам, — мне бы очень хотелось отыскать этого Парамонова... Я б ничего не сказал ему. А просто обнял бы его... и все. Какой он из себя, этот Парамонов, как вы думаете?

Подхлестнув свое не очень-то богатое воображение, мы начинали рисовать на свой лад образ безвестного нам секретаря райкома ВЛКСМ. У каждого из нас он, разумеется, получился свой и по-разному большой и хороший человек, но у Юрки Кузеса — самый красивый и добрый.

Изменился малость и Саша Крупицын. Не столь уж часто бывали теперь озорными его дымчатые, широко поставленные глаза. Вручая комсомольский билет, он уже степенно и четко выводил свою подпись, подолгу всматривался в лицо нового комсомольца, как бы стараясь запомнить на всю жизнь, и не спешил уходить от него.

Один раз он услышал, как кто-то в соседнем окопе проговорил:

— А мне сам капитан Крупицын вручил билет!..

Вернувшись к себе, Саша долго не мог найти места: хотелось что-то немедленно сделать, куда-то пойти, что-то совершить... Но он ничего нового и необычного так и не придумал.

Как и всегда, взял свою сумку и быстро зашагал в сторону переднего края.

Помнится, вскоре мы получили от него великолепную корреспонденцию.

ДВА ПИСЬМА

В последнее время по ряду причин автору этих строк все чаще приходится заглядывать в свои старые записные книжки, фронтовые блокноты, перебирать письма тех лет, подолгу раздумывать над скупыми строчками, разбросанными на уже пожелтевшей, как бы подернутой дымкой истории бумаге.

Память начинает стремительно воскрешать минувшее. Вновь приближаются, обступают со всех сторон лица фронтовых друзей, знакомые, милые, родные до слез, до щемящей боли в груди...

Вот передо мной лежит толстая книжка в темно-коричневом переплете — потертая, постаревшая и суровая, как ветеран, с заглавием: «Временное наставление по полевой службе войсковых штабов». Заглавие явно не соответствует содержанию книжки. Это всего-навсего блокнот для разных записей. Для записной книжки, стало быть, использована только обложка от сугубо специального военного документа.

Листаю книжку. Записи, записи, записи. Торопливые, непоследовательные, с большими перерывами во времени.

Одна из них:

«20 ноября 1944 г.

Ночь была тревожной.

Возле небольшого венгерского городка подорвалась на мине машина. Погиб наш чудесный Валька Тихвинский. Поэт, добрая душа, умница».

Блокнот оживает, и мы ведем с ним, блокнотом, тихую, немножко грустную беседу. Вдруг из него падает на стол листочек дивизионки с двумя коротенькими письмами, крупно напечатанными на первой странице. Я невольно вздрогнул — я все, решительно все вспомнил. Об этих письмах я много-много лет думал, помнил о них. Одно из них не было отправлено адресату...

Найдено оно было Юрой Кузесом осенью 1944 года в кармане гвардии младшего лейтенанта Петра Королева, убитого в бою на Украине.

Вот что писал Петр Королев:

1. Письмо к товарищам

За Родину, за Партию, за счастливую жизнь своего народа, своей жены, своей дочери без страха и сожаления в бою с врагами отдам

свою жизнь. Жить имею право, жить хочу и жизнь очень люблю, а поэтому буду драться с врагом беспощадно.

Если меня убьют, письмо перешлите моей жене.

Прощайте, товарищи!

Кандидат ВКП(б) гвардии младший лейтенант

П. Королев.

2. Письмо к жене и дочери

Милые мои Валюшенька и Галочка!

Это письмо пишу вам, мои дорогие, на случай своей смерти. Получите вы его в том случае, если погибну в бою. Его вам перешлют мои товарищи. Носить его буду в кармане. Пишу потому, что, может быть, сегодня ночью пойдем в бой.

Валюшенька, жить хочется, очень хочется! Ведь мы имеем право на жизнь, наша жизнь была и будет прекрасной.

Мы очень часто недооценивали свои жизни и осознали это только в минуту опасности.

Вот потому, что я очень люблю жизнь, что я безумно люблю тебя, моя милая, люблю свою милую доченьку, весь свой народ, люблю свою Родину и ненавижу врага, я без страха иду в бой и, если потребуется, отдам свою кровь до последней капли, отдам свою жизнь в битве с ненавистным врагом. Я знаю — не уничтоживши врага, нельзя жить. И если умру на поле боя, то своей смертью я завоевываю счастливую жизнь своему народу, тебе и своей дорогой доченьке.

Будь уверена, любимая, что я с честью выдержу испытания и тебе не придется за меня краснеть ни перед кем.

Ты с гордостью можешь говорить, что твой муж погиб на фронте священной войны.

Моя дочурка будет с гордостью говорить своим товарищам: «Мой папка погиб, защищая нашу счастливую жизнь».

Я знаю, любимая, что моя смерть будет для тебя тяжелым ударом в жизни. Я знаю, что ты меня любишь больше своей жизни. Но собери всю силу и выдержи этот удар. Говори себе, что твой муж погиб за святое дело, и помни, что ты должна жить ради Галочки, ты должна ее воспитать. Я очень надеюсь, что ты это сделаешь: за ее судьбу я буду спокоен.

Ну, а еще, Валюшенька, я хочу тебе написать, что никогда мне не хотелось так вас видеть, как сейчас.

Ну, вот и все, мои дорогие!

Прощайте.

Крепко вас целую. Желаю вам жить счастливо, радостно и не забывать папу.

Еще раз целую так, как никогда.

Твой Петя.

Перечитываю эти письма раз и два. Как же случилось, что ни жена, ни дочь Петра Королева не прочли его предсмертного письма-клятвы? Кто тут виноват?

Право, теперь уже трудно ответить на этот вопрос.

Может быть, потому, что семья Петра Королева находилась на оккупированной врагом территории. Может быть, потому, что не был известен ее точный адрес: ведь война, как страшный смерч, пронеслась над страной, всколыхнула людское море, расплескала его, и оно, это море, к тому времени еще не успело войти в прежние свои берега, успокоиться, угомониться.

Я и сейчас не знаю, куда направить пожелтевший листок дивизионки с этими письмами, — адреса Петя Королев почему-то не оставил: забыл ли, или ему помешала взвившаяся вверх красная ракета, означавшая для солдата всегда одно и то же: «Вперед, в атаку!»

И вот по-человечески очень хочется знать о вашей судьбе, Валя и Галя! Мы верим, что она прекрасна, так же прекрасна, как была прекрасна жизнь, очень, к сожалению, короткая жизнь вашего мужа и отца.

Где вы теперь, Валентина и Галочка?

Ты, Галя, конечно, уже стала совсем-совсем взрослой — твой отец и не узнал бы тебя. Может, со своими сверстниками, такими же веселыми, горячими и юными, поднимала алтайскую целину? Может, сейчас вот склонилась над умным заводским станком? Может, геологом ходишь по неизведанным местам твоей большой Родины, открывая новые богатства? А может, стала славной дояркой?

Уверен, что ты, Галочка, идешь правильной дорогой в беспокойной нашей и светлой жизни, как и полагается дочери героя.

Ну, а мама твоя?

Ей, наверное, было нелегко воспитывать тебя. Какою мерой измерить незаметный, но великий подвиг тысяч и тысяч матерей, взрастивших для Родины новое поколение юношей и девушек — строителей коммунизма, матерей, которые лишены были крепкой опоры: ведь не было рядом с ними кормильца, отца их малых детей?!

Да будет во веки веков благословен этот подвиг!

Есть у меня к вам, Валя и Галя, просьба.

Коль вам попадутся на глаза эти строки, — отзовитесь. Напишу вам подробнее, — отзовитесь! Живите счастливо, хорошие люди!

ОЛЕСЬ

Весной 1944 года дивизия продвинулась в глубь Румынии и остановилась перед цепью вражеских дотов. На этом рубеже мы находились несколько месяцев, вплоть до 20 августа, когда войска 2-го Украинского фронта вновь повели широкое наступление.

Было начало апреля. Отцвели вишни и черешни. Земля покрылась зеленью. К брустверам солдатских окопов побежали цветы — белые, оранжевые, голубые, синие, пунцовые, желтые. Бражным духом напитался воздух, пьянил, будоражил, наполнял душу сладкой и тревожно-светлой грустью, будил неясные желания, звал куда-то.

Олесь сидел возле миномета, обняв черную его трубу правой рукой, и, прищурив черные, монгольские глаза, тихий и задумчивый, чуть внятно шептал:

Темниють доти
Чужи навпроты —
Ничого бильш нэма.
А там дэсь, дома,
Весна знайома
Зэлэни рукы пидийма.

Мінометчики, необычно строгие и даже торжественные, слушали его затаив дыхание. Прямо перед ним, в каких-нибудь трехстах шагах, высились темные горбы неприятельских дотов, начиненных пулеметами и легкими противотанковыми пушками. Между дотами и минометчиками лежал свежезеленый луг, разукрашенный цветами и звеневший от птичьего разноголосья. Но солдаты как бы и не замечали всей этой благодати. Перед ними были только доты, грозившие ежеминутно смертью, и ничего больше.

Олесь между тем читал уже другое, гневное:

Скоро спизнаешь, нимкеня зла,
Сыта чужим добром,
Як выгорало мое дотла
Билэ село за Днипром...

Смуглое лицо его теперь было матово-бледным, на острых скулах тугими узлами вспухали, шевелились желваки, в черных глазах поблескивали алмазной жесткости огоньки.

Солдаты слушали все беспокойнее. Один за другим лезли в карман за кисетом, несмело просили:

— Давай, Лександр, еще...

— Вот ведь штука-то какая... За самое аж сердце...

— Ну, валяй дальше, Олесь...

Олесь читал. Он читал и час, и другой. А солдаты слушали и удивлялись, как это можно было обыкновенными словами выразить то, что было у каждого на сердце и о чем, стало быть, могло поведать одно лишь человеческое сердце...

О том, что в бывшей моей минометной роте объявился настоящий поэт, я узнал от ездового Максимыча, который с некоторых пор использовал любой подходящий случай, чтобы проведать нас.

— Прислали его к нам, — повествовал Максимыч, — смирный такой — все больше молчит, будто грустит по ком-то... Глаза такие печальные-печальные. По вечерам в блокнот записывает. Потом зачал читать нам эти самые... как их... ну, стихи, какие вы, товарищ капитан, нам в книжке Тараса Шевченкова читали... Ребята быстро полюбили его — с умом парень и душевный такой. Олесем зовут, Лександр — по-нашему, по-русскому. Вот какое дело!..

Юра Кузес, сидевший поблизости и слушавший рассказ Максимыча

с разинутым от удивления ртом, немедленно отправился в минометную роту, а часа через три вернулся, да не один, а привел с собой и поэта. Это был в самом деле тихий, красивый парень, с глухим, как бы придавленным чем-то тяжелым, голосом, медлительный, пожалуй, даже флегматичный. В темных умных глазах — невысказанная боль, отражение тревожных и тягостных раздумий: позже мы узнали, что еще не скоро погаснет в глазах это его отражение...

Олесь читал стихи, написанные по-украински. У нас не было переводчика, да нам и не хотелось переводить их на русский — до того задушевны и понятны были они в подлиннике. Но мы не знали, что с ними делать. Наша типография не располагала украинскими шрифтами.

И все-таки выход был найден. Помогла солдатская сметка.

— А что, ежели перевернуть вверх ногами восклицательный знак? — вдруг предложил сержант Макогон.

— Ур-р-ра, Макогонище! — заорал Дубицкий. — Ты гений!

И тут все вдруг вспомнили, что не хватает в сущности одной только буквы «і» и что стоит перевернуть восклицательный знак, как эта проблема будет расчудеснейшим образом решена: мы получим самую что ни на есть настоящую «і». Наутро газета вышла со стихами Олеся. Вот как это выглядело:

Темніють доти
Чужі навпроты —
Нічого більш нэма.
А там дэсь, дома,
Весна знайома
Зэлэні рукы підійма.

До самого конца войны почти в каждом номере дивизионки печатались стихи Олеся Гончара. Потом он демобилизовался, уехал на родину. Более года мы ничего не слыхали о своем дивизионном соловейке, все ждали, что его имя промелькнет в ряду имен лучших украинских поэтов. Но мы ошиблись. Олесь перестал писать стихи. Вскоре к нам в дивизию прислали книгу. Называлась она «Альпы». И эта книга была про нас, про наш путь. Растроганный полковник Денисов написал ее автору письмо, которое заканчивалось словами:

«Узнаю почерк славного гвардейца. Олесь, родной, дуй, брат, до горы!»

ГУСЬ-ДИВЕРСАНТ

У наборщика Миши Михайлова была одна слабость: Миша очень любил гусей. Откуда пришла к нему эта странная любовь, никто не знал. У самого Михайлова выяснить что-либо не удалось.

— Гусь — умнейшая птица! — убеждал он Макогона. — Слыхал, может, как гуси спасли Рим? То-то... Гусь, он все может. Вот раздобудь мне где-нибудь, я из него наборщика сделаю. Не веришь?

— Жарко́е сделаешь, — ухмылялся Макогон.

— Ты обо всем с позиции своего брюха рассуждаешь, — обиделся Миша. — Материалист!

— Ну ладно, ладно. Так и быть: достану я тебе гусака.

Вскоре и вправду в нашем хозяйстве объявился молодой гусак. Не знаю уж, на законном ли основании он объявился или захвачен был «в плен» где-нибудь за селом, но только быстро прижился в редакции и теперь расхаживал возле реалов с наборными кассами, важный и деловитый. Он и впрямь внимательно наблюдал за работой Михайлова и Макогона, вытягивая длинную свою шею, стараясь достать до ячейки и вытащить из нее буковку. И когда ему не удавалось, страшно сердился, шипел по-змеиному и издавал угрожающие клики.

Мало-помалу Миша стал приобщать пернатого подмастерья к своему ремеслу.

Началось все хорошо. Гусь оказался учеником прилежным и понятливым. Он уже продвинулся так далеко, что мог по едва уловимому знаку Михайлова достать своим клювом нужную литеру.

Все это сопровождалось восторженным хохотом тружеников нашего наборного цеха.

— Ну и гусь! Он, ребята, вас скоро за пояс заткнет! — кричал Лавра, обливаясь радостными слезами.

Миша Михайлов ликовал, точно малое, неразумное дитя.

— Что я тебе говорил? — то и дело вопрошал он, победоносно глядя на посрамленного Макогона. — Вот увидишь, я из него такого метранпажа сделаю, что ты будешь не нужен!

Кончилась, однако, вся эта история неожиданно быстро и трагически для «метранпажа».

Однажды наборщики с ужасом обнаружили, что из одной кассы основного наборного шрифта начисто исчезла литера «А». Миша, конечно, вмиг сообразил, чья это работа, но боялся открыть тайну. Но делал он это зря, потому что хитрющий Макогон тут же объявил:

— Это гусь. Он выклевал!.. Лавра, лови его!

Гусак, почуяв недоброе, широко разбросал саженные крылья и носился по двору, испуская громкие, гортанные, негодующие звуки. Его все же поймали, для верности ощупали и... обезглавили.

Шрифт таким образом был спасен.

Гусиное мясо оказалось чрезвычайно вкусным. Все ели с великим удовольствием. Даже Михайлов. Правда, он все боялся, как бы не проглотить свинцовую буковку: а вдруг не все они были выпотрошены из гусиного зоба.

Насытившись, стали гадать: почему из всех букв гусь выбрал именно «А»?

— Уж не азбуку ли он начал изучать? — высказал предположение Макогон, подмигивая насмешливыми глазами в сторону Михайлова.

Тот, боясь, что ему пришьют «дело», стал решительно отрицать, утверждая, что его питомец по натуре оказался диверсантом... Учитель-де здесь ни при чем...

ВАЛЬКА

Так звали мы Валентина Тихвинского. Просто Валька. Теперь мне хотелось бы назвать его по имени-отчеству, но не могу. Не могу потому, что отчества его не знаю. Да и никто, кажется, из нас не ведал, как Вальку величать по отчеству. Это нам было в сущности ни к чему.

«Валька!» — так он был ближе, роднее, а главное — в доску своим. Не свойским, нет, а именно — своим. Если же признаться по-честному, мы все потихоньку были влюблены в Тихвинского, хотя, как это бывает в подобных случаях, частенько подтрунивали над ним.

— Валька, продень нитку в иголку! — приставали мы к нему, отлично зная, что ему легче сделать тройное сальто, чем произвести требуемую операцию: Валька был безнадежно близорук.

«Хозяйство» Шуренкова очень гордилось, что в лице Вальки Тихвинского приобрело своего собственного фотокорреспондента, несмотря на то, что по штатному расписанию таковой нам не полагался.

«Не положено», — говорили нам неумолимые кадровики.

Валька был у нас внештатным. Его основная работа состояла в том, чтобы делать крохотные снимки бойцов и командиров для партийных и комсомольских билетов. И инструктор политотдела по партучету очень ревностно следил, чтобы Тихвинский не уклонялся от исполнения своих «прямых» служебных обязанностей. Редактору стоило немалых усилий добиться разрешения, чтобы гвардии старшина Тихвинский работал в нашей газете.

Портрет настоящий, а не выгравированный на линолеуме, портрет героя на первой полосе; боевой расчет у орудия во время артподготовки; атака пехотинцев; девушка, выносящая с поля боя раненого бойца, — какой редактор не мечтал в ту пору о подобных снимках!

Стало быть, Валька нужен был нам до зарезу. Мы так и сказали начальнику политотдела полковнику Денисову:

— Нужен до зарезу.

— Но зачем он вам?

— То есть... как зачем? — удивленные его вопросом, спросили мы.

— У вас же нет цинкографии. Где вы будете делать клише?

Мы молчали. Да и что мы могли сказать? У нас действительно не было цинкографии. Где там! Все «хозяйство» Шуренкова перевозилось на старенькой полуторке, которая давно бы развалилась, не будь золотых рук нашего добрейшего Лавры — Лаврентия Еремина.

— Ну так что же вы молчите? — вновь лукаво спросил нас начальник политотдела. — Выходит, будем жить без фотоснимков...

— Зачем же без фотоснимков, товарищ полковник? — выступил вперед Валька. — Можно съездить в ближайший город, в армейскую газету наконец. И там сделать клише!

Вот, оказывается, какой план был у нашего Вальки!

— Ну что ж. Попробуйте.

И Валька попробовал.

Он находился в редакции армейской газеты всего лишь одни сутки и привез клише, которых нам хватило на две недели. Можете представить, какой это был праздник для дивизионки! Теперь мы могли помещать на страницах газеты снимки героев своего соединения, а это было уж настоящим счастьем.

Валентин, однако, не оставлял и своей основной работы: он по-прежнему чуть ли не ежедневно уходил на передовую, где по указанию своего приятеля, Саши Крупицына, фотографировал бойцов, только что принятых в члены Ленинского комсомола. Валя делал эту в высшей степени простую работу со свойственной ему любовью ко всякому делу, какое бы ему ни поручали. Особенно дороги ему были рядовые. Он напряженно всматривался своими большими близорукими глазами в лица солдат, стараясь запомнить их. Со многими у него тут же, в окопе, завязывалась дружба. И страдал он, когда после очередного боя некоторые комсомольские билеты, еще совсем новенькие, возвращались в политотдел с короткой пометкой: «Убит».

Валентин брал такой билет в свои дрожащие руки и подолгу рассматривал знакомую маленькую фотографию, нередко залитую кровью. В такие минуты он обычно не разговаривал и ходил мрачный... Мы уже знали, чем все это кончится: к вечеру Валька перекинет через одно плечо ремень карабина, через другое — фотоаппарат, зайдет за Сашей Крупицыным, и оба они, сумрачные, молчаливые, отправятся на передний край, и мы не увидим Вальку, может быть, целую неделю. И будем каждый по-своему грустить.

А он возвращался уже совсем другим человеком. Вернее, прежним Валькой Тихвинским — веселым, спокойно-деловитым, с мягкой улыбкой, как-то всегда удобно и красиво устраивавшейся на его поребячьи припухлых губах и в больших добрых глазах.

Встречали мы его бурно, но по-разному. Секретарь газеты, чубатый казачок Андрей Дубицкий, потирал руки — он, как лицо наиболее заинтересованное, ждал от Вальки новых снимков. Редактор по своему обыкновению старался поскорее затащить Вальку в блиндаж и там поподробнее узнать от него последние новости с переднего края. Шофер Лавра, он же и наш завпродскладом, спешил открыть специально для Вальки банку американской консервированной колбасы, до которой тот был большой охотник. Наборщики и печатник обнимали Вальку и, конечно, пачкали его выгоревшую на солнце гимнастерку типографской краской. А сортировщица писем Верочка, давно уже и, кажется, безответно влюбленная в Тихвинского, обязательно именно в эту минуту появлялась у нас с объемистой пачкой писем военкоров.

Чтобы редактор не увел Вальку в свой блиндаж раньше, чем мы успеем наговориться с ним, мы окружали его плотным кольцом.

— А что это, Валька, за пальба была прошлой ночью?

— Ты, случаем, не видел Лавриненко? Что-то он не пишет в газету. Не случилось ли с ним чего?..

— Валька, а правда, что ты третьего дня с разведчиками за «языком» ходил? Нам Саша Крупицын рассказывал...

— Неправда. Ни за каким «языком» я не ходил. Все это Крупицын выдумал! — обиженно отвечал Валька.

Мы, однако, хорошо знали, что Саша Крупицын ничего не выдумал. И если сам Валька не признается, то только потому, что не хочет выставлять себя героем, а может быть, еще и потому, что боится получить нагоняй от инструктора политотдела — своего непосредственного начальника. В самом деле, за каким дьяволом нужно было фотографу идти в ночной поиск!

Но не таким был наш Валька. Чтобы сделать для газеты снимок героя-разведчика, Тихвинский должен был обязательно посмотреть, как этот разведчик ведет себя во время опасной операции. Не оттого ли снимки, которые делал Валька, были необычными, запоминающимися, выразительными?.. Мы, признаться, побаивались, как бы нашего Вальку не «открыла» фронтовая газета и не забрала бы его к себе. Мы хорошо знали, как от такой «напасти» не раз страдал дивизионный солдатский ансамбль песни и пляски: только появится талантливый певец или танцор, глядишь, его уже «откомандировывают» либо в армейский, либо во фронтовой ансамбль.

Должно быть, поэтому редактор держал Вальку «в черном теле» и не разрешал ему посылать свои фотокорреспонденции ни во фронтовую, ни в армейскую газеты.

Впрочем, Валька на этом и не настаивал. Он уже давно сроднился с нашим маленьким коллективом и чувствовал себя в нем отлично.

К тому же ему нравилась и его скромная, незаметная работа в партучете. Она тесно связывала его с солдатами, с передним краем, где у Вальки было много друзей.

С огромным удовольствием Валька делал снимки для бойцов, чтобы те могли их послать родителям или любимой. Вальке радостно было видеть, как оживлялся солдат, как загорались его глаза, когда у него появлялся долгожданный снимок.

— Спасибо! — тихо произносили солдаты.

Кто знает, может, сделанный Валькой снимок — это все, что останется на память о родном человеке, жизнь которого оборвется где-нибудь далеко-далеко от родимого края. И каким дорогим станет он, этот крохотный снимок, отцу, матери, невесте солдата, которому не суждено было вернуться с войны.

Помимо Саши Крупицына и Андрея Дубицкого у Тихвинского был еще закадычный дружок — это сапер, он же разведчик, Алеша Лавриненко, который не скоро узнал, что Верочка была с ним, Алешей, сдержанно холодна потому, что втайне любила Вальку, а Валька хоть и догадывался об этом, но виду не подавал, а, напротив, всячески расхваливал при ней Лавриненко... Они вместе часто хаживали на берег Северного Донца, где располагалось боевое охранение. Там их обоих и контузило вражеской миной. Валька быстро оправился от контузии, а Лавриненко стал заикаться еще больше. Агитатор по натуре, он не мог примириться с тем, что теперь ему уже не удастся выступать пе-

ред солдатами. И он стал писать в газету о подвигах своих товарищей еще чаще.

Лавриненко был для Вальки сущим кладом. Мечтатель и романтик, Тихвинский мог сочинить стихотворение, даже песню, но не умел написать десятистрочной заметки. Лавриненко же делал это хорошо. На этой почве и зародилось содружество. Валентин Тихвинский готовил снимки, а Лавриненко — текстовки к ним. Им обоим очень нравилось, когда под их корреспонденцией значилось: «Фото В. Тихвинского, текст А. Лавриненко».

Не знаю, что имеется в виду, когда говорят: «Характеры не сошлись». Характеры у Валентина Тихвинского и Алеши Лавриненко были разные, прямо-таки противоположные. У нашего Вальки — неуемный. Алеша — невозможный флегматик. Тем не менее это не мешало их суровой, сдержанной, но глубокой дружбе. Так они и шагали вместе, эти незаметные работяги-корреспонденты, скромно делая свое дело, пока одного из них уже у последнего рубежа войны не подстерегла смерть.

Это было поздней осенью 1944 года.

Дивизия шла вперед с тяжелыми боями. По размытым дорогам, по шоссе, через виноградные плантации бесконечными колоннами двигались наши танки и автомашины. Отходя, неприятель расставлял противотанковые мины.

По одной из проселочных дорог, по пути к венгерскому городку, пробиралась и наша редакционная машина. В ней сидели редактор, шофер, наборщики, печатник, секретарь газеты и Валя Тихвинский. Накрывшись плащ-палаткой, Валька перезаряжал аппарат — ему не терпелось сделать новые снимки.

В эту минуту и раздался взрыв: машина наскочила на противотанковую мину. Взрывная волна разбросала всех в разные стороны. Сидевшие в кабине редактор и шофер, находившиеся в кузове наборщики, печатник и секретарь — все остались невредимыми. Все, кроме нашего Вальки. Бледный, спокойный, смотрел он в чужое низкое небо широко открытыми голубыми и уже ничего не видевшими глазами.

Через полчаса у дороги вырос небольшой холмик. Не стало нашего Тихвинского, нашего Вальки...

Я и теперь часто вспоминаю о нем. И всякий раз — с досадой на самого себя: почему я не знал тогда, почему не попытался узнать, откуда он родом, наш Валька, где жил, где работал до войны. Знаю только, что он женатый человек. С молодой и красивой своей женой он был вместе... несколько дней, а потом ушел добровольцем на фронт. Изредка он показывал нам фотографию жены. Чаще же уединялся, уходил в сторонку и любовался ее карточкой один. Мы украдкой наблюдали за ним и радовались, когда добрая улыбка трогала его припухлые губы, когда он щурил близорукие свои глаза, собирая вокруг них пучочки светлых морщинок.

Должно быть, Валька чувствовал себя очень счастливым на земле среди дорогих ему людей.

Похоронили Вальку Тихвинского, оставили в долине маленький холодный курганчик и, сумрачные, подавленные неожиданно посетившей нас бедой, вернулись в домик, одиноко стоявший неподалеку от дороги, на которой смутно чернел подорвавшийся на мине редакционный «ЗИС».

В домике свободно разместилось все наше хозяйство.

— Ну, что же мы теперь будем делать? — спросил я всех сразу (редактор при взрыве мины был немного контужен и находился в медсанбате) и уточнил невеселую ситуацию: грузовик погиб, шрифты рассыпались, разлетелись в грязь. Следовательно, дивизионка отныне прекращает свое существование на неопределенный срок...

В недалеком прошлом политрук и командир роты, волею случая сделавшийся исполняющим обязанности редактора дивизионной газеты, я привык к коротким и точным формулировкам. Нарисовав несколькими словами весьма нерадостную картину, я выжидательно примолк, глядя по очереди на всех своих сподвижников. Сначала, разумеется, на старшего лейтенанта (он уже вырос в звании) Андрея Дубицкого — секретаря газеты, которого для солидности я иногда называл начальником штаба нашего откровенно небоевого подразделения. Потомок сибирских казаков, с темным кучерявым чубом, нередко хвастáвшийся своей родословной, Андрей не отличался ни особой удалью, ни вообще широтой своей натуры. Бережливый и скуповатый, он ревностно охранял свои личные вещицы: школьный пенал, в котором хранил карандаши и скальпель для резьбы на линолеуме (Андрей был и художником), котелок, кружку и ложку. Ложка у него всегда покоилась за широким кирзовым голенищем сапога, откуда он извлекал ее при виде приближавшегося Лаврентия Еремина, снабжавшего нас едой из ахэчевского котла. Лишь в эти минуты Дубицкий прогонял со своего усатого бледного лица меланхолию и с лукавым торжеством взглядывал на Юрку Кузеса, который, как известно, никогда не имел ни своего котелка, ни своей ложки и вообще ничего своего. За такую беспечность Андрей прямо-таки презирал Юрку, и, наверное, несчастный Кузес умер бы с голоду, если б его не выручал Лавра. Он торопливо облизывал свою ложку и передавал ее Кузесу. Тот благодарно ласкал Лавру своими черными, глубокими, прекрасными глазами.

Сейчас лицо Дубицкого, худенькое, бледное, ничего не выражало, кроме бесконечной безнадежности. Кузес же смотрел на меня по-детски невинными, ясными очами и только мигал длинными темными ресницами. С его круглого лица не сходил свежий, жаркий юношеский румянец. Но было очевидно, что на поставленный мною роковой вопрос сказать ему решительно нечего, так же, впрочем, как и Дубицкому.

Следующим был наборщик, он же начальник типографии, сержант Макогон, светловолосый парень, с большими, навыкате, зелеными, малость нагловатыми глазами. Он, как специалист, лишь авторитетно удостоверил то, что для всех нас и без того было ясно:

— Шрифты погибли. Газету выпускать нельзя.

Второй наборщик, Миша Михайлов, тихий и молчаливый, отвернулся к окну, будто что-то там вдруг узрел очень важное и интересное. Печатник Иван Обухов сидел с полуоткрытым ртом, обнажив редкие, торчащие вкривь и вкось, изъеденные свинцовой пылью зубы. По одному его сиротливому виду нетрудно было понять, что и он не приготовил для нас спасительного ответа на мучительный вопрос: «Что же делать?»

Оставался Лавра. Мне очень хотелось бы послушать Еремина, но его в домике не оказалось: копошился возле подорвавшейся машины, взятой им на время в автороте (наша собственная полуторка, благополучно дотащившая нас из России в Венгрию, находилась в ремонте).

Пришлось отправиться к начальнику политотдела дивизии полковнику Денисову и просить, чтобы он затребовал новые шрифты в политотделе армии или в политуправлении фронта. Денисова все мы любили, но и побаивались — от него нам частенько влетало. Соврем малость в газете либо преувеличим что по извечной журналистской слабости — он вызовет всех сразу к себе, выстроит в ряд и долго «изучает» каждого хитрыми, с прищуром, насмешливыми глазами. А потом скажет:

— Ну, агентство ГАВАС, опять завраліись? Что же прикажете делать с вами?

Мы отлично знали, что ничего худого начподив с нами не сделает, но было очень стыдно.

Политотдел дивизии находился в небольшом венгерском городе, и ночью я не скоро отыскал его. Полковник Денисов зачитывал очередное политдонесение, составленное инструктором Новиковым. Тут же стоял с красной папкой под мышкой и сам инструктор.

— Послушай, Новиков. Откуда это ты все взял? Воронцова я еще неделю тому назад командировал в поарм[1], а ты расписываешь его дела в полку. Разукрасил, как владимирский богомаз... Вычеркни это! Мы и так избаловали Воронцова... А о наших погорельцах сообщил?..

«Погорельцы» — это, конечно, мы, и я насторожился, притих, благо, занятые своим делом, ни Денисов, ни Новиков не заметили моего появления.

Полковник между тем продолжал:

— Напиши, что газета выйдет не раньше чем через неделю...

— Она никогда не выйдет! — заорал я. — Вы знаете, что все шрифты погибли, товарищ полковник?

Денисов повернулся:

— Ах, ты уже здесь. Ну что же ты орешь? Давай докладывай. И долго вы искали эту мину? Это же ведь надо уметь. Сотни машин прошли раньше вас по этой дороге — и ничего. Только вы... Ну да ладно. Рассказывай...

Я рассказал, закончив тем, что газета не может выйти ни через не-

---

[1] Поарм — политотдел армии.

делю, ни через две недели, ни через месяц, ни через год и вообще никогда не выйдет, ежели нам не дадут шрифты...

— Шрифты вам никто не даст, — спокойно подтвердил Денисов. — А газета должна выйти через неделю. Дивизия не может остаться без своей газеты.

— Но, товарищ полковник...

— Все, капитан, идите.

Но я продолжал стоять. Мне показалось, что полковник смеется надо мной. Я вспомнил своих несчастных ребят, что ждут меня в одиноком домике, и мне стало очень обидно и за них и за себя.

— Газета без шрифтов не может выйти! — в полном отчаянии повторил я.

— А вы их найдите.

— Где?

— Где потеряли.

Это было уж слишком!

«Умный же человек, что он, однако, говорит?» Я готов был заплакать, глядя на маленькую, подобранную, аккуратную фигурку начподива, повернувшегося ко мне спиной и колдовавшего что-то над политдонесением. И спина, и маленькие красные уши, плотно прижатые к большой круглой голове, были сердиты.

— Разрешите идти? — изо всех сил стараясь быть спокойным, спросил я все же дрогнувшим голосом.

— Идите, — сказал полковник сухо.

Лишь на рассвете я вернулся в наш домик. Там никто не спал. Мне даже показалось, что люди сидели всё в тех же позах, в каких они были с вечера. Теперь все с надеждой смотрели на меня и ждали, что я им сообщу. Мне почему-то захотелось тотчас же уничтожить эту их надежду, и я резко, словно бы эти ребята были виноваты в том, что случилось, выпалил:

— Никаких шрифтов нам не дадут. Через неделю приказано выпустить первый номер газеты.

— Ничего себе! Чем они там думают? — поморщился Дубицкий.

— Товарищ капитан, разрешите, я сам схожу к Денисову, — попросил Юрка Кузес (начальник политотдела его любил, и Юрка знал это). — Тут какое-то недоразумение...

— Они видели когда-нибудь типографию? — ядовито спросил Макогон, сверкнув нагловатыми своими зелеными глазами.

— Приказы не обсуждаются, а выполняются! — громко сказал я, и все притихли, молча засопели.

Первое конструктивное предложение поступило от Миши Михайлова.

— Надо занять шрифты в соседних дивизиях, — сказал он.

Ухватились было за это предложение, но при дальнейшем обсуждении пришли к единодушному заключению, что из этой затеи ничего не выйдет: мы по собственному опыту знали, сколь бедны редакции дивизионных газет шрифтами.

Иван Обухов предложил поездить по венгерским городам и посмотреть, нет ли где русской типографии. При этом он горячо выдвигал свою кандидатуру для такого путешествия. Но и его идея не нашла приверженцев.

— А по-моему, никуда не надо ездить, а собрать свой шрифт, — спокойно и деловито молвил Лавра.

На него посмотрели как на сумасшедшего.

И все-таки я спросил — на всякий случай:

— Как же ты соберешь его в такой грязище?

— Очень даже просто, — пояснил Лавра. — Найти в мадьярском селе два кроильных решета, почаще которое — для маленьких буковок и которое пореже — для больших, стало быть. Собрать вокруг машины всю грязь и промывать через решета...

Наборщики зло расхохотались, отвергая безумный, с их точки зрения, план Лавры. К наборщикам присоединились и Дубицкий с Кузесом. Юрка все еще порывался пойти к начальнику политотдела и что-то доказать ему.

Говоря честно, я тоже не пришел в восторг от Лавриной идеи. Но как бы там ни было, решета уже овладели нашим воображением, завертелись перед глазами, в голове. Мы пытались уйти от них, посмеиваясь над Ереминым, старались забыть, выискивали иные варианты, однако вновь и вновь мысль возвращала нас к ним. Лавра, похоже, догадывался об этом и деталь за деталью начал уточнять свое предложение, облекать его в зримые, осязаемые формы. Мы уже видели, как после процеженной сквозь решета грязи в них оставались маленькие, черные, желанные свинцовые буковки и наборщики осторожно раскладывают их по ячейкам. Сантиметр за сантиметром, метр за метром перебирается нашими руками земля, и ячеечки касс, как пчелиные соты, наполняются и наполняются...

— А что, товарищи, а?.. Попытка не пытка... А?.. А ну, Лавра, бери с собой Макогона — и марш за решетами!

Лавра пошагал быстро. За ним лениво побрел Макогон, явно не веривший в успех дела.

Дубицкий, я и Кузес отправились к разбитой машине на рекогносцировку. Недалеко от машины зябко бугрился холмик. Не сговариваясь, мы подошли к холмику и, сняв шапки, немного постояли возле него. Потом приблизились к машине, присевшей на раздробленный кузов, — мина взорвалась под правым задним скатом. Всю землю в радиусе примерно пятидесяти метров мы разметили на квадраты, с тем чтобы ни единой пригоршни не осталось не пропущенной сквозь решета.

Вскоре Еремин и Макогон вернулись с решетами. В руках Лавры был еще фонарь — это для ночной смены.

Обозначили участок флажками и приступили к работе.

Над нами висело мокрое, холодное, чужое небо. Руки стыли в ледяной грязи, пальцы коченели, скрючивались, делались несгибаемыми, царапали землю, как грабли. Носы наши быстро расхлябились, и из них

текло. Зато в деревянные ячейки буква за буквой возвращались драгоценные шрифты. В решетах, кроме букв и другого типографского материала, оставались острозубые осколки мин и снарядов, а также сплющенные пули. Лавра для чего-то высыпал их в ведро. Время от времени я посматривал на Андрея Дубицкого. Мрачный и бледный, он трудился, как старатель, пригоршнями черпая грязь. От домика, из колодца, Ваня Обухов таскал воду, а воды надо было очень много.

На другой день приехал начальник политотдела полковник Денисов.

— Здорово, погорельцы! Как дела?

— Трудимся, товарищ полковник.

— Добро. — И сам присел на корточки, чтобы вместе с нами продолжать нашу тяжкую работу.

Лавра, инициатор этого предприятия, был против обыкновения молчалив и сосредоточен. В его глазах тлели напряженные огоньки.

К концу четвертого дня работу закончили. Недоставало каких-то букв из петита и буквы «Д» в самом красивом заголовочном шрифте, составлявшем гордость Макогона. Тем не менее на пятый день, на одни сутки раньше срока, на передовую пришла знакомая солдатам маленькая дивизионка. Над всей первой страницей крупными буквами было напечатано:

Внимание, мины!

В ротах долго потешались над самим существом этого предостерегающего возгласа: дивизия была наслышана о том, что редакция подорвалась на мине. Кто-то даже заметил:

— Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Но с той поры офицеры и солдаты еще больше полюбили свою газету.

Месяц спустя, проезжая мимо того места, где подорвалась наша машина, я увидел рядом с могильным холмиком, под которым лежал Валька Тихвинский, еще один точно такой же холмик. На деревянной пирамидке, увенчанной красной звездой, я прочел:

Рядовой Вавильченко А. И.
(1924—1944гг.)
Погиб при разминировании дороги

Это была та самая дорога, на которой мы несколько суток кряду ковырялись в грязи, собирая шрифты. Плечи мои зябко передернулись, и я бегом вернулся в свою машину. Захотелось поскорее убраться с того места, где совсем недавно дважды прогулялась смерть. Только теперь я понял, почему был молчалив, сосредоточен Лавра и почему в его добрых глазах горели напряженные огоньки.

ЛАВРА

В далеком степном колхозе жила-была единственная машина-полуторка, которую артель заполучила лишь на десятом году со дня своей организации и потому очень гордилась ею. Когда-то за машиной прямо на завод был командирован колхозный кузнец Лаврентий Никифорович Еремин: еще в гражданскую войну ему довелось возить командарма на трескучем драндулете, гордо именуемом автомобилем. На заводе Еремину предоставили полную свободу выбора: новенькие грузовики, только что сошедшие с конвейера, выстроились во дворе и, чистенькие, лупоглазые, весело подмигивали малость растерявшемуся мужичищу сверкающими фарами, как бы подсмеивались над ним. Машины были совершенно одинаковы, решительно ничем не отличались одна от другой, так что Лаврентий Никифорович мог взять любую и спокойно катить на погрузочную станцию. Но он не спешил. И только когда обошел весь ряд и заглянул каждой под капот и стальное брюхо, посидел во всех кабинах и покрутил все баранки, опробовал все рычаги передач, проверил исправность замыкающих крючков во всех кузовах, — только тогда остановил свой выбор на одной, неизвестно какой уж красой-статью покорившей его воображение.

Полуторка оказалась и вправду очень удачной — выносливой, торопкой в беге и неприхотливой, как добрая кобылка киргизской породы. Председатель, бывало, не нарадуется своей покупке.

— Вот бы, Лаврентий Никифорович, нам еще парочку таких, а? — говорил он, похлопывая по радиатору, как по лошадиному крупу, и вожделенно причмокивая губами. — Далече б мы укатили, а?

— Далече, Митрофан Сидорович! — соглашался Еремин, улыбаясь во весь свой великолепный рот.

А в декабре сорок первого полуторку с тремя лучшими в колхозе конями мобилизовали и направили в один степной город во вновь формирующуюся стрелковую дивизию.

Лаврентий Никифорович был мобилизован вместе с машиной и попал сначала в автороту, а оттуда — в дивизионную газету. Из всех шоферов автороты редактору Шуренкову почему-то приглянулся именно Еремин. Может быть, потому, что он был уже немолод, а редактор ценил людей степенных и солидных.

Тихий и робкий по натуре, капитан Шуренков не решился попросить у командования дивизии машину повместительнее, «ЗИС-5» скажем, и Еремин прикатил в дивизионку на своей полуторке. Прикатил, и чуть ли уж не через неделю все вдруг поняли, что звать его надобно просто Лаврой и что будет он в редакции, может быть, самой значительной личностью.

Дивизионка — хозяйство весьма своеобразное, над штатным его расписанием, видать, никто особенно не ломал головы. Например, редакции полагался по штату радиоприемник, но не полагалось иметь радиста; полагалась печатная машина, но не полагался движок, который мог бы приводить эту машину в действие; нужен был человек для

охраны в ночное время, но его штатом не предусмотрели, так же как не были предусмотрены повар, почтальон, ординарец, связной, словно бы там, в том высоком учреждении, где определялся штат дивизионки, наперед знали, что во всех соединениях непременно должен быть такой Лаврентий Никифорович Еремин, который один может с успехом исполнить все эти многочисленные обязанности, то есть быть одновременно и шофером, и радистом, и движком для печатной машины — колесо этой машины вращалось ногой Лавры, — и часовым, и ординарцем, и поваром, и почтальоном, и связным.

Самым удивительным, пожалуй, было то, что Лавра возложил на себя эти обязанности как бы сам, спокойно и безропотно, будто заранее знал, что они только для него одного и предназначены и что, кроме него, никто другой с ними и не справился бы.

И вот ведь еще какая штука: Лавра не был перегружен. Он легко, даже играючи, управлялся со всеми своими делами и выкраивал время поболтать часок-другой с разной тыловой братией. У него был какой-то особый ритм жизни и работы. Природная уравновешенность и душевная доброта выручали Еремина в критические минуты фронтового житья-бытья. Налетит, бывало, на него коршуном Андрюха Дубицкий, накричит, нашумит за какую-нибудь малую промашку — Лавра ни слова, тихо и виновато улыбнется, спокойно примется за дело...

Приедем на новое место, Лавра роет яму — укрытие для машины, затем — ровик для рации, потом идет с котелками за обедом, по пути забежит на почту, заберет письма, газеты, узнает важные новости, которые ему сообщит под строжайшим секретом ординарец начподива, вернется, накормит всех, расскажет услышанное, полезет в кузов машины гонять колесо «американки» и мирно беседовать с Иваном Обуховым; покончив с этими делами, закурит, передохнет капельку, потом откроет капот полуторки и поковыряется в свечах, в клапанах, продует трубки, что-то подвернет, подкрутит, протрет весь мотор ветошью. И все — не торопясь, не суетливо. Как-то кругло и ладно у него все получалось.

Лаврой не надо было командовать. Он — сам себе командир. В освобожденных дивизией селениях Лавра с неуловимой быстротой завязывал «деловые связи» с местным начальством, с кузнецами, плотниками и в первую очередь с женским персоналом. Женщины стирали нам белье, латали брюки, гимнастерки, пополняли продовольственные запасы Еремина разной домашней снедью, особенно дорогой после казенных наших харчей.

Никто бы из нас не мог и подумать, что одна из них влюбится в Лавру. Что там говорить, Лавра не был красавцем. Большеротый и большеносый, с большими оттопыренными ушами и к тому ж немолод... Но поди ж ты: отыскала же что-то в нем бабенка, прикипела сердцем, и очень даже крепко прикипела. А мы, настроенные благодушно и снисходительно-насмешливо, не могли предвидеть опасных последствий этого далеко не единственного у нас романа...

Любовь вспыхнула в старинном городке, у Днепра, и мы полагали,

что она угаснет сразу же, как только дивизия окажется за Днепром и двинется на запад. Но мы жестоко ошиблись. Влюбленная шла за нами по пятам, шла тайком, была как бы на нелегальном положении, укрываясь где-то в дебрях второго эшелона: не то в медсанбате, не то в полевой автохлебопекарне, не то в прачечной, где бдительность была не столь уж высокой. Объявилась лишь в Румынии, пришла в редакцию и потребовала, чтобы мы зачислили ее в свой штат...

Назревал великий скандал. Над безумной головушкой Лавры нависли черные тучи. И быть бы ему в беде, не соверши редактор героического подвига: он пошел хлопотать за шофера перед самим генералом, человеком совсем несентиментальным. Мы хорошо знали, что редактор пуще погибели боялся высоких начальников и скорее бы согласился закрыть своим хилым телом амбразуру вражеского дота, чем пойти к комдиву с каким-нибудь прошением. Но потерять Еремина — для нас означало потерять все. И смертельно бледный, вобрав голову в плечи, капитан Шуренков медленно побрел к блиндажу генерала — так, должно быть, приговоренные идут на эшафот.

Одновременно с редактором в направлении землянки полковника Денисова двигалась фигура другого благородного рыцаря — Юры Кузеса, преисполненного решимости самому вынести любой удар судьбы, лишь бы спасти бедного Лавру. Длинный, костлявый, с гордо поднятой головой и с вдохновенно горящими глазами, Юрка в эту минуту и впрямь был похож на Дон-Кихота Ламанчского...

Вопреки скептическим предсказаниям Андрея Дубицкого, склонного рисовать обстановку в более мрачных тонах, миссия Шуренкова и Кузеса увенчалась полным успехом. Лавра был спасен, правда, ценою здоровья нашего редактора: беднягу три дня трепала лихорадка, и Лавра ухаживал за ним с таким самоотвержением и с такой преданностью, что могла бы позавидовать любая сестра милосердия. О вздорной бабенке он, казалось, совсем забыл, хотя знал, конечно, что ее определили поварихой при АХЧ. Неизвестно, встречался ли с нею потом Лавра, но в редакции ее никогда больше не видели.

Лавра по-прежнему служил у нас, нередко выручая дивизионку в тяжких обстоятельствах.

Попали как-то под бомбежку, все разбежались, и только Еремин остался в кабине полуторки и начал маневрировать: самолет ложится в пике, Лавра на полной скорости мчится ему навстречу, бомбы падают далеко позади. Так повторялось несколько раз. И все-таки один осколок попал в мотор, пробил блок и повредил поршень. Вокруг раненой полуторки собрался консилиум из шоферов проезжавших по шоссе машин. Столпились и мы, мрачно и покорно ожидая, какой приговор вынесут нашей старушке специалисты. Лавра, хмурый и молчаливый, тоже ждал.

— Каюк твоему одру, дядя. Давай поможем столкнуть в кювет! — охотно и даже как бы с радостью изрек молодой чумазый водитель, оскалив в широчайшей улыбке ослепительно белые, ровные зубы.

— Пошел ты... знаешь куда! — озлился Лавра и вдруг страшно вы-

ругался — это было первое матерное слово, которое мы услышали от Еремина. — Катись своей дорогой, а меня не учи!..

Шоферы удалились. Андрей не вытерпел, спросил:

— Ну что, Лавра, все, отъездились? Загорать будем?

— Маленько позагораем, товарищ старший лейтенант...

Лавра сбросил с себя гимнастерку, засучил рукава нательной рубахи и начал разбирать мотор.

Мы лагерем расположились неподалеку и стали терпеливо ждать, но без особой надежды на благополучный исход ереминской затеи. Лавра между тем трудился, посапывал и даже временами мурлыкал себе под нос подобие песенки. Через час он извлек из темных недр мотора покалеченный поршень и бросил его в кузов.

— Вот теперь уж действительно все, — потерянно обронил Дубицкий, а Лавра спустя еще час крикнул мне:

— Товарищ капитан, едемте. Садитесь!

Мы думали, что он смеется. Но нет, видим — Лавра уже в кабине, мотор заворчал, с прихлебом каким-то, но заворчал.

Не веря еще ни своим глазам, ни ушам, ни Лавре, мы, однако, вскарабкались в кузов.

Со стоном, надрывным кашлем, с шипением и хлюпаньем полуторка преодолела горный перевал на трех поршнях и доставила нас до политотдела дивизии. Обеспокоенный долгой нашей задержкой, Денисов сказал:

— Придется заменить вашу «Антилопу». Сейчас много трофейных машин.

Никто на это ничего не сказал. Лавра потемнел, как бы вдруг обуглился. Мы не знали в ту пору, что, уезжая на фронт, он дал слово председателю колхоза вернуть полуторку после войны в целости и сохранности. Только в тот день, к вечеру, малость успокоившись, он сообщил об этом мне и еще добавил:

— А вам рази не жалко ее менять, товарищ капитан?

— Жалко, Лаврентий Никифорович, но что поделаешь: отжила она, видать, свой век.

— Не отжила. Поправлю я ее, лучше новой будет. Довезу я вас... до самой победы довезу! Вот увидите!

И довез.

А в конце мая 1945 года полуторка, латаная и перелатаная, поцарапанная там и сям осколками бомб, снарядов и мин, важно стояла на платформе эшелона на большой товарной станции; колеса ее были наглухо закреплены деревянными клиньями, кузов с трех сторон прикручен проволокой. А в кабине, счастливый и немножко грустный, сидел Лавра. Он махал нам большой своей темной ладонью и кричал хрипло перехваченным волнением голосом:

— До свиданья, ребята!.. Приезжайте ко мне в гости в Казахстан. На вокзал прикачу на нашей полуторке!

ИВАН ОБУХОВ И ЕГО ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ

О нашем доблестном печатнике Иване Обухове надлежит поговорить особо. Появился он в редакции самым первым, тогда, когда в ней не было ни редактора, ни секретаря, ни литсотрудника, ни наборщиков, ни шоферов, — то есть не было никого и ничего, кроме штатного расписания, хранившегося в политотделе дивизии. Редакция находилась в стадии формирования, и надо было все начинать с азов.

По причине своей неугомонности Обухов не стал сидеть сложа руки и ждать, когда появятся редактор и все прочие, а, вооружившись вдохновляющим словом Саши Крупицына, который был тогда чуть ли не единственным человеком во всем политотделе, немедленно приступил к практическим делам. Для начала Иван обошел все типографии, какие только были в городе, определив таким образом, что и где плохо лежит, а потом уж стал разрабатывать, не без активной помощи Крупицына, детальный план приобретения печатной машины. Саша снабдил Обухова подходящими документами, и тот теперь чувствовал себя значительно увереннее.

Конечно, не этого древнего одра, которым сейчас располагала наша дивизионка, облюбовал сперва Иван Обухов: «американка» досталась ему по крайности, взять ее пришлось не от хорошей жизни. Предметом вожделенных упований Обухова была новенькая, свежая и молодая, как невеста, машина из типографии областной газеты. Ее-то и порешил было доставить Иван к месту дислокации пока что не существующей дивизионки. Директор издательства склонялся было к тому, чтобы распроститься с новой машиной и пожертвовать ее армии, но когда дело дошло до начальника типографии, коим оказался рыжий и презлой старикашка-пенсионер, вернувшийся на производство по случаю войны, дело приняло неожиданно неприятный оборот: этот наотрез отказался «раскомплектовывать» свое хозяйство. При этом он так взглянул на Обухова, словно бы тот был вором или убийцей. Иван, несколько смущенный таким развитием событий, попробовал обратиться к совести старика, задеть его патриотическую струнку:

— Батя, как же тебе не стыдно! Для себя, что ли, я прошу эту машину? Для фронта же. Видишь, немцы к Москве уж подошли, к первопрестольной...

— Молчать! — взвизгнул старик неожиданно оглушительно. — У меня три сына там. Вот вернутся, выпорю всех. Всех высеку, мерзавцев!.. Куда допустили, куда допустили, сукины дети! — И, выставив вперед мослявые кулачишки, старик двинулся на опешившего Ивана. И он наверняка ударил бы Обухова, если бы печатник не догадался вовремя ретироваться.

А на другой день рыжий забияка сам привез Обухову машину, но не ту, новую, а вот эту, старую «американку», некогда принадлежавшую купцу первой гильдии Бекмуратову-Охлемину, у которого рыжий еще до революции работал печатником. Неизвестно уже отчего, но только дед-полиграфист был явно расположен к примирению, пото-

му что говорил с Иваном ласково, называл его сынком, хотя «сынку» этому было далеко за сорок. Под конец старик так подобрел, размяк сердцем, что извлек из кармана своего полушубка поллитровку настоящей водки, чем окончательно и бесповоротно покорил Обухова. С того дня старик взял шефство над дивизионкой и помог сравнительно быстро снабдить ее типографию всеми необходимыми материалами. Помнится, он следил за нашим маленьким коллективом всю войну, все время переписывался с Обуховым. Иван, со своей стороны, не упускал ни единого случая, чтоб напомнить всем нам, что он, Обухов, вместе с рыженьким старичком «заложил основы газеты». Мы охотно соглашались с ним.

Как и всякий фронтовой солдат, Иван Обухов был вооружен винтовкой. Однако первое, что он сделал, получив винтовку, — это густо смазал ее, завернул в мешковину и упрятал подальше в кузов грузовика, куда-то за печатную машину. Упрятал и позабыл о ней. Так и лежала трехлинейная образца 1893 года, крепко запеленатая в рогожину, не сделав ни единого выстрела за всю войну. Рядовой Обухов сражался с врагом иным оружием.

Он, так же как и Еремин, был сущим кладом для дивизионки. Посланный на фронт рабочим крупной типографии одного из больших городов Урала, он все время помнил их наказ: «Не подкачай там, Ваня. Не осрами, не опозорь рабочего Урала!» Более добросовестного и исполнительного солдата, чем Обухов, трудно было себе представить. Но, как говорят, и на старушку бывает прорушка. С кем греха не бывает!

Случился грех и с нашим печатником — и это за каких-нибудь два-три дня до окончания войны. Дивизия к тому времени добралась к самому центру Европы, ее пушки стучали где-то на подступах к Праге. В воздухе, по-весеннему звонком, тугом и прозрачном, явственно пахло победой. По дорогам и в наспех покинутых немецких блиндажах валялись журналы с фотографиями Гитлера в черной траурной рамке. Чехи не дожидались, когда немцы оставят их селения, прямо на глазах захватчиков наряжались в свои национальные костюмы, вывешивали трехцветные флаги Чехословацкой республики. Наши солдаты пьянели и от запаха сирени, которой местные жители устилали им путь, и от ощущения приближающегося конца страдного их пути, и от сияющих девичьих глаз, и от весеннего солнышка. Между тем беда стояла уж у порога, стучалась в дверь. И подкрадывалась она к нам оттуда, откуда никто ее не ожидал и не мог ожидать...

В последние месяцы, когда по всем фронтам советские войска неудержимо рвались к рубежам, где их ждала победа, наша старенькая «американка» трудилась особенно много, стучала и шлепала денно и нощно. Дивизионная газета выходила через день, но мы не могли оставить солдат без последних известий в дни ее невыхода, поэтому вместо газеты выпускали листовки со сводками Совинформбюро, которые в те победные времена были высоко чтимы в войсках. Такие сводки Обухов печатал обычно в глухую полночь, когда все наше хозяйство погружалось в сон. Отпечатав, он разрезал их, складывал в стопки, увязывал

и отправлял с Ереминым на полевую почту. Сам же уходил на заслуженный отдых.

Поутру наш новый редактор Григорий Залкиндер, прибывший на место уехавшего на учебу Шуренкова, сделав необходимые распоряжения Дубицкому, начинал свой традиционный обход дивизионного начальства. В отличие от прежнего редактора Залкиндер не боялся ни командира дивизии, ни начподива и к тому же был неплохим психологом. Он знал, что к его приходу они уже успеют прочесть листовку и от хороших вестей с фронта обрести отличное расположение духа, то есть вполне созреть для того, чтобы рассмотреть в положительном смысле любую просьбу. А у дивизионки всегда есть какая-нибудь нуждишка: поистрепалось обмундирование на солдатах, требуется транспорт для поездки в политотдел армии за бумагой, для полуторки — запасные скаты,—мало ли еще чего! И вообще, разве не приятно чувствовать на себе веселое отражение хорошего настроения других людей, которым не кто-нибудь, а ты, твоя газета приносит ежедневно добрые вести!

Но однажды Залкиндер вернулся из традиционного обхода грознее бури и чернее самой черной тучи.

— Где Ванька?! — закричал он еще издали, испугав нас до смерти каким-то странным, неестественным голосом. — Где этот разбойник, растак его так! Убью прохвоста!!

Огромный, круглый, как гора, страшный в крайнем гневе своем, редактор вбежал в избу, ища пистолет. Дубицкий, Кузес, наборщики кинулись на Залкиндера, повисли на его плечах.

— Товарищ майор! Что с вами? Товарищ майор!..

Редактор разбросал всех в разные стороны и выкатился на улицу, рокоча:

— Где Иван?! У-у-у-бью!!

Обухов исчез. Он, по-видимому, раньше всех сообразил, в чем дело.

А случилось вот что. Ночью, перед тем как начать печатание листовки, Иван не удержался и, изменив своим правилам, выпил кружку вина. Последствием было то, что отпечатанные листовки он разрезал неверно, располыхнув их с угла на угол, прямо по тексту. В таком виде они и ушли в войска, а заодно — и к командиру дивизии с начальником политотдела. О том, как высокие начальники реагировали на этот факт, догадаться нетрудно. Точно так же вовсе не обязательно обладать большой фантазией, чтобы представить себе, как был встречен наш редактор, отправившийся с утра в свой обычный обход...

Итак, Обухов пропал. Вот уже два дня о нем ни слуху ни духу. Газету с грехом пополам печатали Макогон и Лавра. Положение с каждым часом становилось тревожнее. Приближалась та роковая минута, когда об исчезновении печатника нужно будет докладывать по команде, а это ничего хорошего нам не сулило.

— Дело дрянь, друзья, — сказал Залкиндер, и по его голосу мы поняли, что редактор сильно страдает. — Беды не миновать, — добавил он скорее с сожалением, чем с гневом.

А Иван был рядом, во дворе, укрывшись в бункере за огромными

бочками, чутко прислушиваясь к тому, что делается наверху. И только ночью он выходил оттуда на короткое свидание с Ереминым, который и передавал ему очередной бюллетень о настроении редактора. На третье утро Иван услышал какие-то крики, и ему показалось, что в село ворвались немцы. Забыв про все на свете, он выскочил из бункера и, ослепленный майским солнцем, долго не мог понять, что же творится вокруг. Прислушавшись, он вздрогнул от радостной догадки. Кузес, Дубицкий, Макогон и Михайлов, высоко подняв над головой трофейные парабеллумы, стреляли в воздух и ошалело орали:

— Иван, победа! Победа!!!

Из груди Обухова исторгнулся нечеловеческий стон. Он вспомнил о чем-то и кинулся в машину. Там, где-то за «американкой», отыскал забытую им винтовку, извлек ее из мешковины, мгновенно протер подолом гимнастерки, достал из вещмешка обойму и зарядил. Соскочить на землю у него не хватило терпения.

— Ого-го-го-о-о-о! — закричал он во всю мочь и прямо с кузова полуторки произвел первый свой выстрел в первый день мира и, красный, обросший темной щетиной, счастливый и дорогой всем до слез, ринулся к стоявшему в сторонке и через силу хмурившемуся Залкиндеру просить прощения.

Залкиндер, смущенно сопя, все же сказал:

— Немцев благодари. Вовремя капитулировали. А то бы...

эпилог

«Ну, а что же было потом? Где сейчас герои повести? Что с ними? Живы ли?» — эти вопросы могут, естественно, возникнуть у всякого, кому попадутся на глаза настоящие заметки. Поэтому автор считает необходимым кое-что добавить к рассказанному выше, дать несколько дополнительных сведений — правда, не обо всех, а о некоторых своих героях. К счастью, многие из них и по сей день пребывают в добром здравии.

Могут полюбопытствовать: откуда у меня эти сведения?

Все объясняется очень просто.

Я прописан в Москве и по этой причине могу по очереди встретить всех своих друзей и знакомых — нужны лишь время и терпение: где б они ни были, где б ни жили, хоть на краю света, а Москву не минуют.

Начну с гвардии полковника Григория Ивановича Денисова. Он по-прежнему служит в армии, занимает высокий пост в политическом управлении одного военного округа. Я готов поклясться, что местным военным журналистам влетает от него ничуть не меньше нашего и что они его любят так же, как любили мы. Григорий Иванович уже несколько раз наведывался в столицу по делам службы, и, конечно же, мы с ним встречались. Скажу по секрету, что в свое время Денисов послужил мне прототипом для создания образа полковника Демина в романе «Солдаты», — так что у нас были веские основания для встреч.

Полковник все так же аккуратен, подтянут, подобран, моложав, все с тем же насмешливым прищуром глаз. В первые минуты встречи спросил: «Ну, а где сейчас Юра Кузес?»

Я отвечаю, что Юрий Юрьевич Кузес тоже в Москве, в пятистах шагах от моего дома, сообщаю адрес: Москва, Шубинский переулок, дом № 4, квартира... Номера квартиры не могу припомнить, но это меня нисколько не смущает, потому что я тут же, на глазах у Денисова, поднимаю телефонную трубку и кричу в нее:

— Юрка, это ты? Какого дьявола сидишь! Мигом — ко мне! Ты знаешь, кто у меня?..

— Неужели?! — всхлипывает от полноты чувств Юрка, а через десять минут уже яростно стучит в дверь моей квартиры: он мог бы, конечно, не стучать, а нажать кнопку звонка, но, во-первых, Юрке не хватает терпения, а во-вторых, по вечной своей рассеянности и внутренней неорганизованности он попросту забывает, что на свете существуют такие вещи, как звонок.

Юра не утратил своей восторженности и радостного удивления перед жизнью и людьми, хотя судьба его сложилась далеко не ласково. Совсем недавно трагически погиб очень близкий для него человек — жена, и Юрий Юрьевич живет со своей матерью, воспитывая дочь — маленькое черноглазое чудо. Работает Кузес литературным сотрудником одного московского журнала.

— А вы знаете, — сказал я моим гостям, — у меня в прошлом году был... кто бы вы думали?.. Андрей Дубицкий, наш Печорин!

— Не может быть! — Юркины глаза заискрились. — Ну как он?

— Живет в своем городе Акмолинске. Работает специальным корреспондентом областной газеты. Пишет рассказы о славных целинниках. Как всегда, ядовит...

— И ты знаешь его адрес?

— Конечно, даже по памяти. Записывайте: Акмолинск, Советская, 60. Если забыли его отчество, могу напомнить: Андрей Федорович...

Потом полковник Денисов спросил о Гончаре: видим ли мы его, вспоминает ли он своих однополчан-прапороносцев.

— Добрый из него вышел писатель. Молодец! — И Денисов весь как-то просветлел.

Затем как будто бы без всякой связи с предыдущим вспомнили про Сашу Крупицына. Я рассказал, что видел его после войны только один раз. Это было не то в пятьдесят первом, не то в пятьдесят втором году. Встретились случайно на площади Свердлова в Москве, чуть не столкнулись носом к носу.

— Сашка, черт, ты?!

— Я!

— Где же ты? Как же?

— В Западной Германии все время был, работал по репатриации. Задерживают там наших людей, не дают вернуться на Родину. Запугивают... Ну, ты прости меня, тороплюсь в ПУР... Телефон есть? Давай запишу. А ты запиши мой...

Записали и разбежались в разные стороны. Так и не знаю, где сейчас эта буйная головушка: ни я, ни он, как это часто бывает с нашим братом, не позвонили друг другу...

— Отличный малый! — сказал о бывшем своем помощнике Денисов.

Потом посмеялись над какой-то историей, связанной с Сашкой. А потом вдруг замолчали: от Юрки узнали о смерти Григория Залкиндера, последнего редактора нашей дивизионки. Залкиндер работал в Донбассе, в областной шахтерской газете. Умер от разрыва сердца...

С этой минуты мы уже не могли не думать о тех, кого не было среди нас и уже никогда не будет. Под конец войны погиб Алеша Лавриненко — автор «Млечного Пути», незаметный, скромный человек, бесконечно влюбленный в людей и успевший за свою до обидного короткую жизнь так много сделать для них и сказать о них так много добрых, хороших слов. А когда вспомнили о Вальке Тихвинском, я показал своим товарищам два письма. Вот они, эти письма:

Первое:

Уважаемый Михаил Николаевич!

В журнале «Советское фото», 1957, № 5, я прочитала Ваш рассказ «Валька». Я — жена Валентина Тихвинского и прошу Вас принять от меня благодарность за то, что Вы его вспомнили добрым словом. Я и его мать полны горького удовлетворения, что не только мы его помним и знаем как человека большой души.

В конце рассказа Вы сожалеете, что мало знали о Валентине, а поэтому я хочу кратко рассказать о его жизни.

Родился он в 1917 году. Мать и отец — учителя, отец погиб на гражданской войне. Валя окончил пединститут, был комсомольцем, очень любил и знал литературу, хорошо преподавал (я училась в 10-м классе, и он на практике давал у нас уроки, так образно рассказывал, что ребята могли на другой день без подготовки отвечать).

Любил музыку, немного был художником: писал портреты и пейзажи, писал стихи. Став педагогом, Валентин все-таки мечтал о другом, хотел поступить в институт кинематографии, мечтал быть кинооператором, поэтому у него была любовь к фотографии.

Мечта его не осуществилась, так как началась война. Вот — это кратко о нем.

У меня к вам просьба, если это Вас не очень затруднит и Вы не забыли, то прошу Вас: опишите кратко его мысли, мечты, желания, привычки того периода, когда Вы были вместе. О его гибели я получила письмо от Андрея Дубицкого — и все. А как бы хотелось, чтобы живущие помнили о тех, кто тоже мог бы жить. Прошу меня простить, что я Вас беспокою своим письмом, но Вы должны понять, как этот рассказ встревожил все прошлое, и сейчас так ярко встают картины этого прошлого. Я — библиограф, просматриваю все журналы, а вот этот журнал мне попал в руки только недавно, хотя он пришел в июне ме-

сяце, и вот после прочтения его у меня было такое ощущение, что жив Валентин, где-то рядом, да и читая Ваши статьи и произведения, я к ним отношусь, как к друзьям

Еще раз прошу извинения.

С дружеским приветом

Людмила Кузнецова.

Мой адрес: Марийская АССР, г. Йошкар-Ола, Республиканская библиотека.

Второе:

Уважаемая редакция!

Я являюсь читателем журнала «Советское фото». С большим интересом прочитал в № 5 рассказ Мих. Алексеева «Валька».

Дело в том, что с Валентином Тихвинским, о котором идет речь в рассказе и которого я узнал по помещенной фотографии, я учился вместе в институте. Это мой хороший товарищ, любимец всех студентов. Я его хорошо знаю потому, что он был активным членом институтского кружка, руководителем которого я был, мы очень много занимались в кружке, выпускали фотогазету, устраивали конкурс на лучший снимок. И вот, прочитав о Вальке (и мы так его звали) теплые слова, невольно вспомнил студенческие годы, и как-то сразу стало грустно, что так нелепо погиб Валентин.

Мы окончили институт (педагогический в г. Йошкар-Ола) в 1939 году, и после этого я о нем никаких известий не имел.

А ведь его семья живет там и никаких подробностей о его гибели не знает и, возможно, Вашего журнала не выписывает. Поэтому я очень прошу Вас передать автору Мих. Алексееву мою большую просьбу — написать подробно о нем в педагогический институт на имя директора. Он использует этот материал в воспитательной работе среди студентов, тем более что директором работает Кожевников — наш товарищ, с которым мы учились вместе.

Я очень благодарен Мих. Алексееву за эту весточку о моем лучшем друге. И кроме того, я был обрадован тем, что Валентин сумел применить свои знания по фотографии, полученные в моем кружке, на фронте борьбы с общим врагом. Наши труды даром не пропали.

Я сейчас фотографией занимаюсь редко, только по выходным дням (в порядке отдыха), так как много очень другой работы.

Если Вас не затруднит, то прошу исполнить мою просьбу.

Заранее прошу извинить за это мое, быть может, необычное письмо.

Полковник Разинов.
29/VI 1957 г.

Теперь я должен буду признаться перед читателями, что именно эти два письма натолкнули меня на мысль написать о дивизионной газете нечто вроде повести. Уже написанный рассказ о Вальке подсказал и ее

форму — короткие новеллы, объединенные судьбами одних и тех же невымышленных героев.

В приведенных в повести «Двух письмах» есть такие строчки:

И вот по-человечески очень хочется знать о вашей судьбе, Валя и Галя! Мы верим, что она прекрасна, так же прекрасна, как была прекрасна жизнь, очень, к сожалению, короткая жизнь вашего мужа и отца.

Где вы теперь, Валентина и Галочка?..

Прошло совсем немного времени, и почта доставила мне маленький листочек, заполненный четким девичьим почерком. Привожу это письмо полностью в уверенности, что оно принесет немалую радость читателям, точно так же, как оно принесло ее мне:

Я прочитала письма моего отца, Петра Антоновича Королева. Большое спасибо Вам за теплые слова. Вы обещали выслать нам эти письма, и я буду очень Вам благодарна, если Вы сможете сообщить мне хоть что-нибудь о папе. Когда он погиб, мне было 6 лет. Знаю его по фотографиям и маминым рассказам. Я горжусь своим папой и утешаю себя мыслью, что он погиб не напрасно — он завоевал мне счастливую жизнь. Я учусь в Казахском государственном университете, на IV курсе физико-математического факультета. Только через год я смогу (как Вы предполагали) управлять умной вычислительной машиной, а на целину мы ездим каждый год, на 2—3 месяца (в этом Вы правы).

Еще раз очень прошу Вас ответить мне.

Королева Галина.
21/IV 1959 г.

Стоит ли что-нибудь добавлять к этому письму? Полагаю, что не стоит. Оно само может многое сказать и друзьям и недругам нашим...

А на днях мне передали письмо Аты Ниязова. Он пишет:

«Сейчас я работаю по воспитанию молодых строителей — заместителем начальника строительно-монтажного управления треста «Чарджоуоблстрой», возводим жилые дома для трудящихся, боремся за досрочное выполнение плана первого года семилетки».

Итак, славный наш Ата опять на переднем крае. Впрочем, в этом-то я не сомневался. Разве могло быть иначе!

На всякий случай сообщаю и его адрес: Туркменская ССР, г. Чарджоу, СМУ № 3 треста «Чарджоуоблстрой». Ниязову А. Н.

...Вернемся, однако ж, к нашей встрече с Денисовым и Кузесом. Припомнили мы тогда всех: и Шуренкова, имя которого однажды промелькнуло в какой-то газете, и наборщиков Макогона и Михайлова, и, разумеется, шофера Лаврентия Еремина, и печатника Ивана Обухова — всех-всех. О многом и многих было говорено в ту памятную встречу.

Расстались на рассвете.

Хочется сказать теперь уже всем им: доброго вам пути, хорошие люди!

1960

СОДЕРЖАНИЕ

Наш Печорин 4
«Млечный Путь» 14
Ата Ниязов 17
Максимыч 21
«Сам Крупицын...» 30
Два письма 35
Олесь 37
Гусь-диверсант 39
Валька 41
Внимание, мины! 46
Лавра 51
Иван Обухов и его первый выстрел 55
Эпилог 58

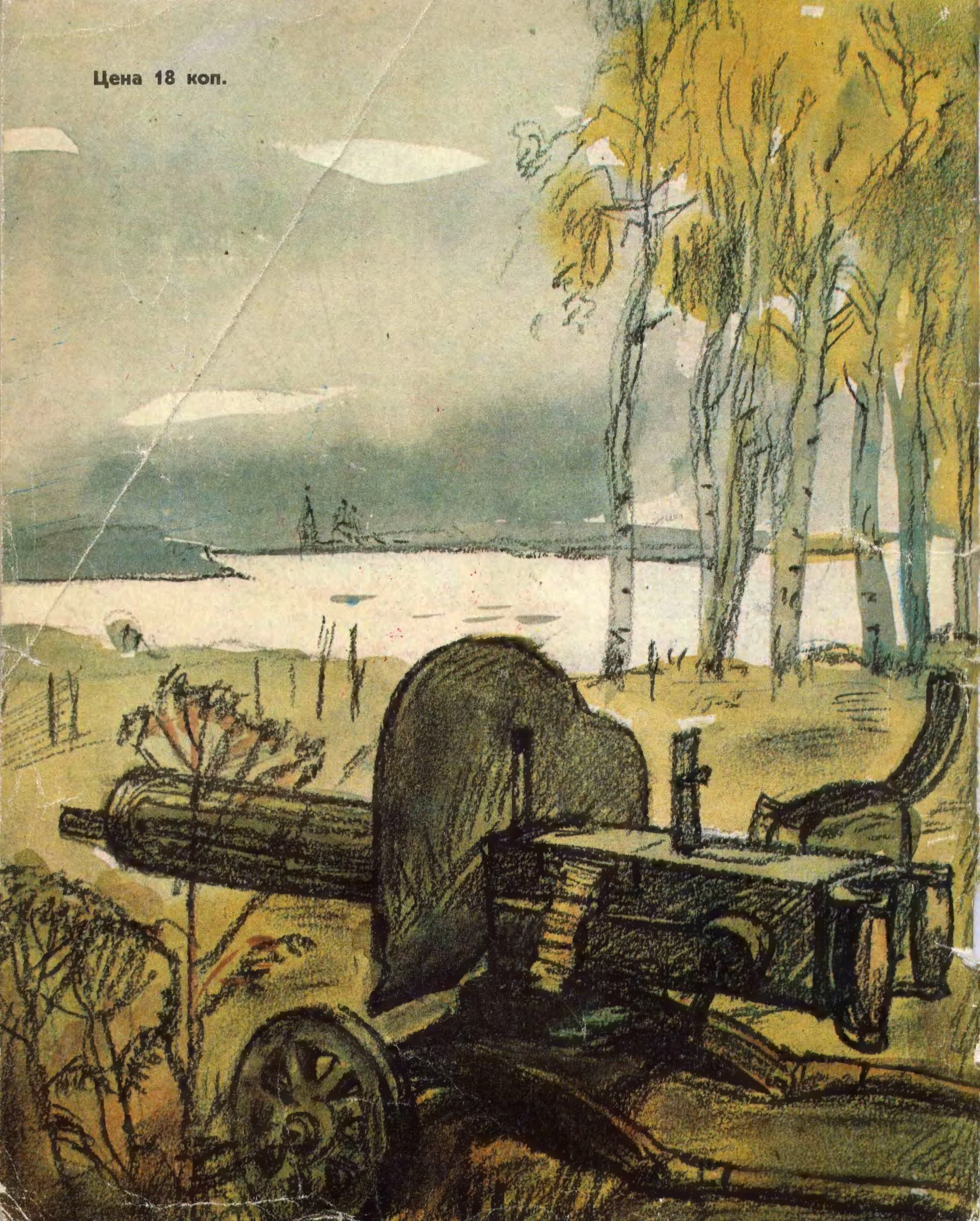
★

Для старшего возраста

Михаил Николаевич Алексеев

ДИВИЗИОНКА

Ответственный редактор С. Н. Боярская. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор Н. Ю. Крапоткина. Корректор Л. М. Агафонова. Сдано в набор 1/VIII 1974 г. Подписано к печати 17/XII 1974 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 4,57. Тираж 300 000 экз. Заказ № 227. Цена 18 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Цена 18 коп.